

Б И Б Л И О Т Е К А

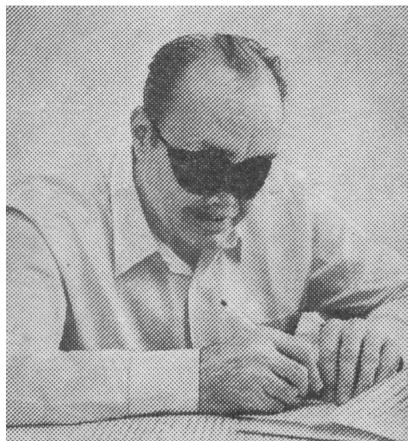
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 41

1985



Эдуард АСАДОВ

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

ЗАРНИЦЫ ВОЙНЫ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 41

Эдуард АСАДОВ

ЗАРНИЦЫ ВОЙНЫ

СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИИ

Москва. Издательство «ПРАВДА»

1985

Эдуард АСАДОВ

Эдуард Аркадьевич Асадов родился 7 сентября 1923 года в Туркмении в семье учителя. После смерти отца, в 1929 году, Асадовы переезжают в Свердловск. Здесь, на Урале, и прошло детство поэта. Тут он стал пионером, здесь написал свое первое стихотворение, здесь же вступил в комсомол. Затем Москва, выпускной бал в 38-й школе 14 июня 1941 года и через неделю — война. Эдуард Асадов пошел в райком комсомола с просьбой отправить его добровольцем на фронт. Всю войну он провоевал в подразделениях знаменитых гвардейских минометов «катюш». Сначала под Ленинградом был наводчиком орудия. Потом уже сам командовал батареей на Северо-Кавказском и 4-м Украинском фронтах. В битве за освобождение Севастополя в ночь с 3 на 4 мая 1944 года был тяжело ранен... Госпиталь... Стихи между операциями...

В 1946 году поступил в Литературный институт им. А. М. Горького и с отличием окончил его в 1951 году. В этом же году вышла первая книга стихов Эдуарда Асадова «Светлые дороги», за которую он был принят в члены Союза писателей. Сейчас он автор 24 поэтических сборников. Сборник фронтовых рассказов «Зарницы войны» — первая прозаическая книга поэта.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Идея создания книги «Зарницы войны» возникла у меня и очень давно и в то же время сравнительно недавно. Дело в том, что как и большинство подлинных фронтовиков, вынесших на своих плечах самые горькие и трудные дни войны, я не очень любил рассказывать все о минувшем, тяжком, пережитом. Когда же мне все-таки случалось в дружеском кругу рассказать о каком-либо случае или боевом эпизоде, то мои товарищи частенько мне говорили:

— Послушай! Ты же столько видел, знаешь и пережил. Вот ты рассказал сейчас такой интересный случай. Ведь жаль, если все это пропадет. Вот возьми, не откладывая, и хоть завтра же сядь и расскажи все это на бумаге! Главное, не откладывай, не тяни!

А я откладывал. А я тянул. К прозе обращаться мне не хотелось. Меня переполняли стихи, а кроме того, существовало одно опасение. Памятью о том, как некоторые интересные поэты, начав писать прозу, так потом по-настоящему к поэзии и не вернулись, я опасался, что и сам смогу выбиться из поэтической колеи.

Время шло.

И всякий раз весной, когда начинали приближаться победные майские дни и по радио, и по телевидению, и в газетах все чаще и настойчивее звучали радиопостановки, репортажи, воспоминания и очерки о минувших походах и боях, я все чаще и чаще начинал чувствовать вот эту необходимость поведать людям о прошедшем и пережитом. И вот такая интересная вещь. В памяти моей с годами произошла своеобразная поляризация, что ли. Одни имена, события и факты отделились, отошли куда-то в тень и словно бы расплылись, а другие, напротив, стали ярче, отчетливей, ближе. Многие мои фронтовые друзья, товарищи, побратимы словно бы подошли близко-близко, постучались мне в душу и тихо говорят: «Ну что же ты? Мы же бились с тобой рядом плечом к плечу. Наша жизнь не прошла даром. Уже мало осталось тех, кто помнит о нас. Мы твои друзья, и если не ты, то кто же о нас расскажет? А ведь возвращенные снова из небытия, мы можем принести еще очень много пользы. Садись же и пиши!»

И я сел и начал писать книгу, которую назвал «Зарницы войны».

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЛЕНИНГРАДЦЫ!

Зарницы войны... В суматошной торопливости повседневных дел они вспыхивают в нашей памяти не очень, пожалуй, и часто. Но так уж получилось, что как в природе, так и в нашем сознании зарницы памяти, точь-в-точь как и грозовые зарницы, чем ближе к весне, тем вспыхивают все ярче и чаще. Особенно же густо сверкают они в первую декаду мая... Май как бы фокусирует, как полюс собирает меридианы, воспоминания о наших далеких боевых днях, таких дьявольски трудных и таких молодых...

Так уж вышло, что моя фронтовая судьба оказалась теснейшим образом связана с тремя городами, на груди у каждого из которых засверкала впоследствии Золотая Звезда Героя. И мне всегда приятно сознавать, что в сиянии всех трех этих звезд есть по крупнице и лучику и моего ратного труда.

Ленинград! Сколько спето о нем песен и сколько написано о нем книг! И вряд ли мне нужно что-либо еще рассказывать о нем. Я просто приезжаю сюда, как в свою юность, горькую, трудную, но удивительно милую и дорогую... Я с удовольствием дышу его влажным, солоноватым и всегда холодноватым ветром, часами брожу по его улицам и переулкам, встречаюсь в концертных залах с дорогими моему сердцу ленинградцами, которые так горячо и взволнованно встречают меня, и читаю им стихи. У нас удивительное понимание. Между сердцем поэта и сердцами читателей словно бы протянуты тысячи туго натянутых незримых нитей. И биение моего сердца отчетливо отдается в их сердцах, а пульс читательских сердец гулко отзывается в моем сердце. Я стою на залитой прожекторами сцене Академической капеллы, или в концертном зале у Финляндского вокзала, или во Дворце культуры на Выборгской стороне, или в ДК 1-й пятилетки, в Доме офицеров и так далее и так далее, стою и читаю ленинградцам стихи. Я пришел к этим вечерам через самые тяжкие дни войны, опаяя гвардейскими залпами наших «катюш» метельную стужу блокадной зимы, болея душой за каждого ленинградца, за каждую улицу и каждый дом в этом городе. Я читаю ленинградцам стихи, и люди слушают меня в напряженнейшей тишине. Они верят мне, отдают теплоту своих сердец, ловят каждое слово. Это мой праздник, мой звездный час, а точнее, наш праздник, праздник победы самых горячих и высоких чувств! Я не рожден в этом городе. Но город этот мой. А я принадлежу ему.

Не ленинградец я по рождению,
И все же я вправе сказать вполне,
Что я ленинградец по дымным сражениям,
По первым окопным стихотвореньям,
По холоду, голоду, по лишениям,
Короче: по юности, по войне!..

Я бросаю в напряженную тишину концертного зала слово за словом, строку за строкой. Чуть потрескивают вольтовы дуги юпитеров и софитов, от них, вместе со светом, на сцену катится горячей волною жаркий воздух. И на какое-то время создается иллюзия, что это не лампы и прожектора, нет, а это горячее тепло двух тысяч сердец, незримым потоком катясь из зала, переполняя, заливая всю сцену.

Я читаю стихи и вижу седые от морозного инея леса, опушки, с искореженными снарядами стволами и ветками деревьев, с черно-бурыми ранами воронок на белом снегу, замершие на огневой позиции в четком ровном строю, как на параде, изящные в своей стальной могучей красоте, словно сказочные птицы с устремленными ввысь стрелами спарок наши знаменитые «катюши» и застывшие в напряженном внимании простые и дорогие лица моих товарищей по войне. Они сражались за этот город, за всю страну, за то, чтобы жизнь победила вновь, чтобы забыли люди о страданиях и горе, чтобы бежали на свидания счастливые девчонки, чтобы трудились заводы и цвели цветы и чтобы когда-то, в таком далеком для них будущем, пришли нарядно одетые люди в концертный зал, на поэтический вечер! И у меня такое ощущение, что вместе со мной незримо стоят сейчас на сцене и погибший в первом же бою сержант Бурцев, бесстрашный пулеметчик Константин Кочетов, и старшина Фомичев, и Петя Шадрин, и комбат наш Лянь-Кунь, и Коля Пермяков, и Костя Белоглазов, и все, все мои фронтовые товарищи и побратимы! И это в их честь, да, именно прежде всего в их честь гремят бурные аплодисменты, и им дарят люди прекрасные букеты цветов!

Но я не только вспоминаю те далекие фронтовые дни. Конечно же, нет! Почти всякий раз, приезжая сюда, я езжу на места боев. Кладу цветы к подножию скромного монумента, стоящего возле шоссе Ленинград — Мурманск, на котором высечены слова о том, что тут в январе 1943 года встретились воины Волховского и Ленинградского фронтов, осуществившие прорыв фашистской блокады города.

Я посещаю места наших огневых позиций, подолгу стою у обелиска «Разорванное кольцо» и словно бы вновь мчусь по фронтовым дорогам, снова стою у консоли прицельного приспособления, припав глазом к окуляру панорамы и навожу свою боевую «катюшу» на цель. В такие минуты я словно бы сбрасываю с себя незримое бремя лет, слышу взвизгивания пуль, грохот разрывов, ощущаю смолистый

запах сосняка пополам с едким запахом гари и, слыша знакомые голоса моих товарищей, всей душой, всем сердцем своим прикасаюсь к их светлой памяти...

Ленинградцы любят свой город. Справедливо гордятся его прошлым и настоящим. А память о войне для них тяжела и священна. Среди множества вопросов, которые я получаю на литературных вечерах, мне задали и такой вопрос, кажется, это было в Доме офицеров: «Эдуард Аркадьевич! Скажите, пожалуйста, что Вам особенно запомнилось в самом начале и в самом конце войны?»

Я задумался. В моем мозгу, как на экране, стали мгновенно прокручиваться десятки, а может быть, сотни самых различных фронтовых эпизодов, и очень важных и каких-то второстепенных... И вдруг — стоп! Лента словно бы остановилась. А на «экране» темный, почти черный от поздних сумерек лес, залитая голубовато-желтым, призрачным светом луны, укатанная машинами дорога, затвердевший от мороза, как камень, снег, а на дороге две фигуры — одна высокая, большая, другая чуть поменьше, приземистая и настороженная. Первые немцы, первые фашисты, которых я вижу близко-близко, почти в упор, лицом к лицу...

А случилось это в конце ноября 1941 года. Наш 50-й гвардейский артномотный дивизион находился на Волховском фронте вот уже два с половиной месяца. За это время мы успели дать более пятидесяти залпов и считали себя уже бывальными фронтовиками. Впрочем, пятьдесят залпов, каждый из которых приводил противника буквально в ужас, и постоянная охота за нами, как с воздуха, так и при помощи всех имевшихся у фашистов сил и средств, — вполне достаточное для того основание. Пользуясь быстротой наших машин, оперативностью и мастерством боевых расчетов, мы, буквально как черти, носились из конца в конец вдоль линии фронта и в самых трудных, а порой и почти безнадежных местах сражений давали свои, воистину могучие залпы.

Главное же место нашей дислокации, так сказать, наш основной «дом», находилось в густом, сосновом лесу, примерно в трех километрах от станции Войбакала. Отстрелявшись и уйдя от вражеской артиллерии и разыскивающих нас самолетов, мы чаще всего возвращались сюда, в «дремучий терем», как шутливо именовал нашу базу склонный к мечтательности бывший «мстерский богомаз» старшина Фомичев. Тут, в объятиях вековых сосен и под сенью их могучих лап, мы чувствовали себя спокойно и почти по домашнему уютно. Мы заправляли машины, проверяли моторы и боевые установки и, замаскировав всю технику, ныряли с мороза к жарко натопленным землянкам, где ждали нас долгожданные горячие щи, тепло и еще более долгожданные письма. Счастливики, получившие письма, уселись немедленно писать ответ, кто положив листок на доску от снарядного ящика, а кто на перевернутый котелок.

Другие курили, балагурили, вспоминали эпизоды только что пережитого боя, а иные уже пристраивались поудобнее, намереваясь пораньше лечь спать. Так сказать, «припухнуть в запас», ибо неизвестно, когда еще придется хорошо выспаться. Каждую минуту могут поднять по тревоге. Внезапно стоявший на посту у дороги часовой вызвал начальника караула. Оказалось, к нему подошла женщина из деревни Красный шум, примыкавшей к станции Войбакала, и пыталась вступить с ним в какие-то переговоры. По железному уставу службы часовой ни с кем, кроме своего прямого начальства, вступать в разговоры не может. Но и отправить женщину обратно часовой тоже не решился. Как-никак война. Мало ли что могло случиться. И надо выяснить: что и почему?

Уже не очень молодая, закутанная почти до глаз в серый платок усталая женщина немного сбивчиво и встревоженно рассказала сержанту Кудрявцеву о том, что нынче утром, отправившись в соседний лес за хворостом и сучками, она увидела возле старой заброшенной землянки каких-то двух незнакомых людей. Ее они не заметили, но она разглядела их хорошо.

— Не нашенские, побей меня бог, не нашенские, — по-северному цокая, говорила она. И получалось у нее: «Не нацинские побей меня бог, не нацинские. У нас тут, почитай, и мужиков-то никаких почти нет, а которые есть, так уж я всех, как есть, знаю. А эти чудные какие то и все хоронятся, да я их все равно углядела. Кто их знает, кто такие. Глянуть бы вам, товарищи, может подожгут или еще какой разбой учинят. Вот и пришла к вам».

Подошел старшина Фомичев. Выслушал женщину и, закуривая, предположил:

— Может, беженцы какие-нибудь или дезертиры... Насчет немцев не думаю. Это навряд. В лесу немцу делать нечего. Леса он боится. Однако надо обмозговать. Подождите тут минут десять. Я сейчас! — И побежал доложить комбату.

Надо сказать, что караульная служба у нас в батарее, как и во всем дивизионе, была поставлена хорошо. Больше того, к нам прикомандирован был, ввиду секретности нашего оружия, даже взвод охраны. На протяжении нескольких месяцев расположение наше охранялось двойным кольцом караула. Снаружи — взвод охраны, внутри — часовые нашей батареи. И тем не менее никаких немцев мы, откровенно говоря, тут в лесу не ждали. Возле передовой — да, в районе огневых позиций — да, но в глубине обороны, в глухом лесу... ожидать фашистов было трудно. Лесов немец не любил, не знал и боялся. Не знаю, как на других участках, но тут, на севере, под Ленинградом, куда бы мы ни ездили и где бы мы ни стреляли, ни в одном более или менее приличном лесу ни мы, ни другие части, насколько нам известно, никаких фашистов не встретили ни разу.

Широкие поля, проселки, магистрали, шоссейные и железные дороги — вот тут, пожалуйста, как говорится. Но леса, наши родные могучие леса, с самого начала войны и до конца были нашим надежным и верным союзником!

Вот почему, побеседовав с женщиной, ни старшина, ни комбат особенно серьезного значения ее рассказу не придали. Но жизнь во все вносит свои коррективы и учит, что даже в самых проверенных правилах могут встретиться исключения. В чем мы, хоть и один-единственный раз, в тот вечер смогли убедиться.

Вернувшись от комбата старшина сказал, что показания женщины надо проверить. Для этого он отрядил первых же попавшихся под руку бойцов. Ими оказались: ефрейтор Кочетов, младший сержант Шилов и два неразлучных друга, два бывших плотника, рядовые Бойков и Зеленов. Уходя, Кочетов перекинул винтовку СВТ через плечо и, повернувшись к женщине, шутливо прихлопнул валенком:

— Под руку вас не взять?

Та добродушно улыбнулась и каким-то потеплевшим голосом сказала:

— Возьми, возьми, родимый. У меня сынок, вот тощ-в-тощ такой же соколик, на границе служил. Где-то он нонде, и жив ли... один бог ведает.

— Ничего, мать, — нашелся Константин. — Не волнуйся. Сын твой жив. Пограничники, они ведь, считай, что заговоренные. Пуля их почти никогда не берет. Можешь верить, как дважды два!

Вернулись они уже затемно, без женщины, но с двумя незнакомцами, которых вели под конвоем. Как рассказали потом ребята, дело произошло так. К месту, о котором говорила им женщина, они пришли еще засветло. Хотя сумерки уже начали понемногу сгущаться. И когда она издала указала им землянку, Кочетов, поблагодарив, попросил ее вернуться обратно. К землянке подошли неслышно. У входа, завешенного плащ-палаткой, встали полукольцом и взяли винтовки на изготовку. Шилов на всякий случай вынул из подсумка гранату. Кочетов, поколебав кондом штыка плащ-палатку, из-под которой слабо пробивался желтоватый свет, громко скомандовал:

— Эй, кто там есть, быстро выходи наружу! Не задерживай, ну!

В землянке затаились. Ни звука. Тогда Шилов рассерженно крикнул:

— Считаю до пяти. У меня в руке граната. Если не выйдете, полетите в рай, к чертовой матери! Ну!

Полог отдернулся, и оттуда выглянул круглолицый человек в ушанке со звездой и нагольном полушубке. Улыбнулся и с развязной приветливостью сказал:

— Ну чего вы шумите? Свои мы, абсолютно свои! Два командира. Направляемся к себе в часть. Вот зашли сюда на часок обогреться

и перекусить. — И снова добавил: — Так что все в порядке, товарищи, свои!

Кочетов сухо отрезал:

— Ну, это мы еще разберемся.

А Шилов, смягчившись, добавил:

— Это хорошо, если свои. Только попросим выйти наружу и предъявить документы. Мы тоже ведь не гулять пришли. Война!

Плащ-палатка задернулась. Внутри глухо заговорили. Затем тот же круглолицый в ушанке, все так же улыбаясь, первым стал неторопливо выбираться наружу. Ребята, не опуская оружия, молча ожидали. Был он невысок, худощав, так как даже в полушубке не казался плотным. За плечами небольшой вещмешок, поверх полушубка на ремне кобура пистолета.

Кочетов сухо предупредил:

— Оружием не баловать. — И, кивнув на отведенный затвор СВТ, добавил: — Ну, чтобы не вышло какого недоразумения.

Вслед за первым медленно, по медвежьей, из землянки стал вылезать второй человек. Этот, когда распрямился, показался рядом с первым гигантом. Одетый точно так же, как и его спутник, он был хмур, молчалив и держался с нагловатым высокомерием.

— Во-первых, со старшим по званию надо держаться иначе, — сказал он, окидывая презрительным взглядом гвардейцев. — Я капитан, а это — лейтенант. А вы, насколько я понимаю, солдаты.

Бойков и Зеленов смущенно переглянулись. Но Кочетов и Шилов держались тверже. Шилов снова хмуро сказал:

— Мы не к барышням пришли. Война. И попросим предъявить документы.

Незнакомцы несколько секунд молчали, словно бы оценивая обстановку. Но направленные на них три винтовки, пистолет и граната в руках у Шилова заставляли с гвардейцами считаться. Высокий, расстегивая крючок полушубка, грубовато сказал:

— Хорошо. Документы мы сейчас вам покажем. А потом — кругом! И чтобы впредь нас здесь не беспокоить! Мы тоже через часок отправимся в свою часть.

И он назвал номер инженерного батальона. Под полушубками у командиров были новенькие телогрейки, а под ними гимнастерки (тоже новехонькие) с двумя кубарями на петлицах у одного и со шпалой у другого. Да и вообще, надо признаться, что все на незнакомцах, от ушанки до черных с отворотами валенок, было новехоньким, прямо со склада. Только на плечах и руках желтовато-белых полушубков пятна сажи — следы знакомства с прокопченной землянкой. Кстати, и физиономии у обоих никак не говорили о том, что они знакомы с морозными ветрами и продовольственными перебоями. А были они, как сказал потом Бойков, «хорошо нажратые и тыловые».

Капитан, презрительно оттопырив губу, демонстративно медленно стал отстегивать клапан гимнастерки. Затем, вынув документы, величественно протянул их Шилову. То же самое сделал и лейтенант. Младший сержант, засветив карманный фонарик, просмотрел документы, затем передал их Кочетову. Но пистолета не опустил. Вообще напряжение не проходило, больше того, с каждой минутой становилось все более острым. Что-то неуловимо недоброе и тревожное висело в воздухе. Документы были в порядке. Шилов взглянул на Кочетова. Взгляд как бы спрашивал: «Ну что? Все вроде правильно. Будем отпускать или нет?»

Кочетов еле заметно отрицательно качнул головой:

— Все вроде бы правильно,— громко сказал он.— Зеленов, слазь-ка в землянку. Не забыли ли там чего?

Зеленов прыгнул вниз. Капитан вскипел:

— В чем дело? Кто разрешил вам такие действия? Предупреждаю, что неприятности у вас будут большие!

Не опуская пистолета, Шилов простодушно сказал:

— Извините, товарищ капитан. Мы же ведь тоже не просто так. Служба есть служба.

Из землянки вылез Зеленов:

— Ни хрена там особенного вроде нет. Вот только карта какая-то... флага... окурки...— Он протянул на ладони несколько сигаретных окурков. Улыбнулся:

— Душисто курят в тылу. Не наша махра.

Фляга была великолепная. В коричневом суконном чехле с золотыми кнопками и такой же золотой крышкой и на новеньком хрустящем ремне.

Лейтенант улыбнулся:

— Трофейная. Если хотите, могу подарить.

Капитан снова вскипел:

— Хватит болтовни! Документы в порядке? В порядке! А теперь — кругом! И чтобы я вас больше не видел!

Он протянул руку за документами. Другая легла на кобуру пистолета. Кочетов, отпрыгнув, направил штык в грудь капитану. Шилов взвел курок пистолета. Зеленов и Бойков встали за спинами незнакомцев. Кочетов крикнул:

— Руки вверх! Не двигаться! Будем стрелять!

И, когда те подняли руки, уже спокойней добавил:

— Прошу сдать оружие! И пройти с нами. Там разберутся. И если выйдет, что все правильно,— документы и все остальное вернут. Если вы командиры, то должны нас понять. Бойков, заberi пистолеты!

Недоверие гвардейцев объяснялось в общем-то легко. С какой стати капитан с лейтенантом, направляющиеся к месту назначения в часть, вместо того, чтобы заночевать в деревне пойдут искать убежище в лесу? Женщина видела их тут на рассвете. И если они

здесь провели ночь, то для какой надобности им, вместо того, чтобы спешить в часть, сидеть тут весь день да еще мерзнуть вторую ночь? Потом эта фляжка, сигареты, а главное, карта. Зачем искать дорогу по карте, когда есть комендант на станции, есть дороги, регулировщики КПП, есть деревни, штабы и так далее. Короче говоря, надо было выяснить все. Обмозговав все это, ребята и привели незнакомцев к старшине Фомичеву. Правда, в само расположение батареи они их не повели, а остановились на шоссе и послали доложить обо всем Зеленова. Следует сказать, что хитрые хлопцы, в целях конспирации, не пошли с задержанными к тому месту, где машины обычно въезжали с шоссе в расположение батареи, а остановились много раньше, там, где перед дорогой темной стеной стоял густой лес. Туда и пришли комбат, старший лейтенант Лянь-Кунь, комвзвода лейтенант Новиков и старшина Фомичев. После краткого разговора решено было отправить задержанных в штаб дивизиона. Но, по соображениям сохранения военной тайны, вести их не через расположение батареи, а провести по шоссе и там уже, свернув в лес и дав небольшого крюка, препроводить их в штаб. Старшина Фомичев, зная, что рядовые Зеленов и Бойков, всегда храбрые в бою, тем не менее в присутствии всякого начальства, а тем более штабного, тушуются и робеют, состав караула несколько изменил. Поблагодарив и отправив ребят в землянку, он определил на их место могучего сибиряка Костю Белоглазова и меня. Что касается Белоглазова, то тут, мне кажется, был и еще один фомичевский подтекст, что ли. Поставив рядом с огромным задержанным капитаном еще более могучего Белоглазова, он как бы с ухмылочкой говорил: хоть ты и здоров, а у нас есть гвардейцы и куда покрепче! Впрочем, это только мое предположение.

Как сейчас вижу эту, залитую голубоватой луной, укатанную машинами, снежную дорогу и наш импровизированный конвой. Впереди, с пистолетами, мы с Шиловым. Дело в том, что мы с Шиловым были наводчиками, а личным оружием наводчиков в наших частях были пистолеты. Слева от незнакомцев — молчаливый и важный старшина Фомичев, в руках у которого оружие и документы задержанных, а позади с винтовками два Константина: Кочетов и Белоглазов.

Почему я концентрирую внимание сейчас на этом эпизоде? Для чего рассказываю о нем? Наберитесь немного терпения и вы поймете меня до конца.

В штаб дивизиона из батареи сразу же позвонили, и там «гостей» уже ждали. Комдив в ту пору был у армейского начальства, и в штабе находились замполит, батальонный комиссар Рабуев, начштаба дивизиона капитан Копнин и начальник особого отдела старший лейтенант Ивенсон. Сделаю маленькое отступление и скажу, что гвардии капитан Копнин вызывал в душе моей всегда горячую

симпатию, еще с тех пор, когда он, в звании старшего лейтенанта, командовал соседней, 1-й батареей. Высокий, широкоплечий, с правильными чертами лица и удивительно добрыми глазами. Он был интеллигентом в полном смысле этого слова и в каждой фразе и в каждом движении. Он обладал и великолепными военными знаниями, и недаром по самым сложным вопросам комдив обращался именно к нему. Единственным недостатком в его внешности, на мой взгляд, были два ряда золотых зубов, которых сам он лично никогда не стеснялся и, будучи улыбчивым человеком, охотно демонстрировал человечеству. Впрочем, и мне самому со временем эти золотые зубы перестали казаться каким-то моветоном, а напротив, уже привыкнув к ним, я даже считал их чуть ли не украшением его улыбки. Меня он почему-то замечал сразу же, где бы я ни находился. Увидит меня где-нибудь на огневой, полыхнет золотым сиянием и весело крикнет:

— Ну и глазищи! Что за глазищи! Темнее ночи — чернее сажки! Когда, Асадов, будем их отмыывать? Может, сейчас потрем снежком? — И, еще раз улыбнувшись, добавит:

— Ну ладно, воюй! Сейчас некогда. Отмоем после войны!

Где вы сейчас, жизнерадостный и добрый капитан Копнин? Впрочем, нет, не капитан, а, как я слышал много лет назад, генерал Копнин. Где вы сегодня живете и служите? Помните ли еще черноглазого наводчика второй батареи Эдуарда Асадова? И знаете ли вы, что после войны ни снежком оттирать, ни водой отмыывать ничего, к сожалению, уже не понадобилось.

Но вернусь к моему рассказу: итак, как я уже говорил, в штабе сидели батальонный комиссар Рабуев, капитан Копнин и начальник особого отдела Ивенсон. Задержанные вошли в штаб без тени смущения. Приложив рукавицы к ушанкам и громко поздоровавшись, они, не ожидая приглашения, с шумом уселись на табуреты, и капитан, расстегивая полушубок, развязно спросил:

— Это у вас тут что? Штаб? Вот и хорошо! Ну что, товарищи, долго еще будет продолжаться эта комедия? На каком основании, разрешите узнать, у нас забрали документы, да еще таскают весь вечер по дорогам и лесам?!

И, хотя говорил он по-русски грамотно и легко, тем не менее что-то в четком произношении слогов, в каких-то едва уловимых оттенках несколько настораживало. Лейтенант разговаривал много свободней. Он поддерживал капитана:

— Нас давно ждут в нашей части. И вообще, к чему подобная подозрительность? Все же в порядке. Верните нам документы! Мы очень спешим!

Батальонный комиссар, набивая трубку табаком, неторопливо сказал:

— А никто вас задерживать и не собирается. У нас тоже есть свои дела. А волноваться не надо. И мы не в игрушки играем.

Капитан Копнин, внимательно рассматривавший вместе с особистом принесенные документы, сверкнув двумя рядами золотых зубов, вежливо добавил:

— Самым идеальным будет, если вы сейчас тихо и спокойно поведаете нам все о себе. Это и в наших и в ваших интересах. Прошу!

А начальник особого отдела Ивенсон, положив на документы коротенькую ладонь, еще тише произнес:

— А пока вы будете рассказывать, все прояснится. Мы уже связались с нужными людьми. Сейчас позвонят в вашу часть и, думаю, через часок или раньше все встанет на свои места.

А затем, подперев кулаком подбородок, молча и без улыбки устался на «гостей». И тут произошло то, что никакая фантазия предположить не могла.

Совершенно неожиданно, с грохотом отодвинув табуретку, задержанный капитан встал и выпрямился во весь свой огромный рост. Важно и горделиво он выбросил вперед правую руку и хрипло произнес:

— Хайль Гитлер!

При этом вскочивший вместе с ним лейтенант вытянул руки по швам. Затем «капитан», снова усевшись на табурет и нагло глядя на присутствующих, развязно заговорил:

— Что покажет проверка — это ясно. И наплевать на это сто раз! Будем говорить как умные люди! Положение у вас безнадежное. Ленинград не сегодня-завтра будет наш. В Москву, самое крайнее через три месяца, войдут наши войска! Вы люди и вы хотите жить! Я старший офицер немецкой армии, послан верховным командованием, чтобы все узнать об электрических «адских машинах». (Так немцы называли наши «катюши».) Повторяю, дела ваши безнадежны!

Он снова встал и с нагловатой напыщенностью произнес:

— От имени великой Германии предлагаю вам выгодные условия сдачи! Главное, что всем вам будет сохранена жизнь! Подумайте серьезно: всем сохранена жизнь!

Он сел и огляделся с чванливым высокомерием. Несколько секунд все пораженно молчало. Затем батальонный комиссар Рабуев, отложив погасшую трубку, сказал: — Ну и стервец! Вот это стервец!

Капитан Копнин, задумчиво барабанив пальцами по документам, усмехнувшись и ни к кому не обращаясь, задумчиво добавил:

— М-м-да... Ничего себе сюрприз! И самое любопытное, что он ведь и вправду себя человеком считает... А чьи дела плохи, это, как говорят ваши немцы, «мы еще будем посмотреть»! А разговор наш будет закончен не в Ленинграде и не в Москве, а в Берлине. В этом я могу вас заверить совершенно твердо!

Начальник особого отдела Ивенсон, неторопливо складывая фальшивые документы в новенький планшет, обращаясь только к Копнину и Рабуеву, деловито сказал:

— Отвезем их в штаб армии. Дайте трех-четыре бойцов из взвода управления. Я поеду с ними сам.— И, внезапно обернувшись к фашистам, сказал: — Если бы вам столько ума, сколько нахальства...

На следующий день специально посланные люди возле той самой землянки в лесу нашли спрятанные под снегом портативную немецкую рацию и прорезиненный мешок с продовольствием. Видать, надолго устраивались «визитеры»...

Что касается их самих, то ребята, побывавшие в штабе армии, рассказывали о том, что в контрразведке «Смерш» держались они также развязно и нагло. Только под конец, говорят, этот самый «капитан» сказал:

— Уверен, что вы меня расстреляете. Но если даже так, то разрешите хотя бы перед смертью посмотреть на ваши «адские машины»!

Услышав об этом, некоторые любопытствующие хлопцы, спрашивали:

— Ну и как им, показали?

— Ну да, хрен-то,— с важностью отвечал им ординарец Ивенсона — он же дивизионный почтальон Серый: — Ну да, в-первых, расстрелять их, может, и не расстреляют. На то они и пленные. А во-вторых, может, мать их так, возьмут и нарежут откуда-нибудь к своим фрицам. То-то и оно то. Понимать надо!

Я не случайно рассказал этот эпизод. А вспомнил я о нем там, в Ленинграде, на одном из творческих вечеров, когда меня спросили о том, что особенно запомнилось мне в начале и в конце войны. Многие, очень многое запомнилось мне в военные годы. И одно из самых характерных воспоминаний: физиономии фашистов в начале войны и в момент ее завершения. Какими разными и непохожими были эти вражеские лица там, под Ленинградом, в первые месяцы войны и в Крыму, под Севастополем, когда война была уже на переломе и поворачивалась к ее завершению.

Я словно бы вновь переключая свою память, и вот на экране уже не 1941 год и не суровый заснеженный лес, а совсем иное. Весна 1944 года. Крым. Залитое ярчайшим солнечным светом шоссе, бегущее к Севастополю. Наши войска неудержимо идут вперед!

Главное, что бросалось в глаза в те весенние месяцы наступления: растерянность фашистов, трусливые улыбки, откровенный страх. И шли пленные солдаты по дороге не в одиночку, а сотнями и даже тысячами. Шли зачастую без всякой охраны, небритые, трусливо-жалкие. А куда им было бежать? Они находились в Крыму, а западный фронт подошел уже к государственным границам нашей страны и продолжал неукротимо катиться дальше к Берлину, о котором с такой убежденностью говорил там, в тяжкую минуту войны, молодой и ясноглазый капитан Копнин. Фашисты шли, понуриив головы, вдоль обочин, шарахаясь от пролетающих мимо

наших танков, самоходок и грузовых машин. Завидев советских бойцов, они ластиво улыбались, махали руками и охотно кричали уже не «Хайль Гитлер», а «Гитлер капут!», «Гитлер капут!» И никакой больше спеси, никакой «великой Германии». Ибо замороженные и забытые чванливой, воинственной тупостью мозги их начали оттаивать и поворачиваться в ином направлении. И этот переворот в их сознании, в сознании миллионов и миллионов людей во всем мире, так же как и победное солнце в небе, зажгли наши замечательные скромные и отважные ребята: и Костя Кочетов, и Костя Белоглазов, и капитан Копнин, и наводчик Шилов, и старшина Фомичев, и все, все, кто дошагал до победы и кто дожить до нее не успел...

Я люблю бродить по улицам Ленинграда. Моего Ленинграда, города, который после горьких дней и совместно пережитых бед стал мне родным. Вот именно — родным и близким.

Я подолгу стою у чугунных перил перед каналом Грибоедова, ощущая задумчивый перезвон воды, слушаю над головой шум весенней листвы. Мне нравится влиться в торопливый поток спешащих по делам прохожих. Я люблю беседовать с самыми разными незнакомыми людьми. Кто они: рабочие? инженеры? матросы? врачи? Это неважно. Они ленинградцы! А значит, мои друзья! Иногда меня о чем-нибудь спрашивают, порой протягивают блокнот для автографа, а подчас бывает даже и такое: подбежали ко мне на Литейном парень и девушка, какие-то взволнованные, веселые. Сунули в руки цветы и говорят:

— Эдуард Аркадьевич, мы любим друг друга. Сегодня у нас свадьба. Как хорошо, что мы вас встретили! Мы очень любим ваши стихи. Пожмите нам руки на счастье!

— Охотно! — говорю я им. — Судовольствием! Но зачем же мне-то цветы? Это я как раз должен вручить цветы вам! Чудаки, право!

А они, такие торжественные и радостные, поцеловали меня в обе щеки, засмеялись и говорят:

— Нам цветов еще надарят. А этот букет пусть будет у вас, как символ нашего счастья! Спасибо! — И убежали.

А розы эти еще долго-долго стояли в номере моей гостиницы и не вяли. Вероятно, оттого, что были счастливыми...

Да, я люблю ленинградцев и мог бы рассказать множество случаев, которые трогали меня почти до слез. Но вспомню лишь еще об одном. Было это не то в 1976-м, не то в 1977 году... Солнечные майские дни. Настроение под стать весне, светлое и приподнятое. Я снова в Ленинграде! В городе висят афиши моих творческих вечеров.

Концертный зал у Финляндского вокзала. 9 мая. Читаю стихи. По сложившейся традиции, всякий раз, приезжая в Ленинград, кроме стихов, уже опубликованных, я читаю новые, только что написанные. Одним из новых произведений было на этот раз стихотворение «Отцы и дети» — стихи о преемственности поколений, о войне и вере

в современную молодежь. И так совпало, что, когда я начал читать это стихотворение, в городе загредел салют в честь Дня Победы. Впечатление было удивительным. Артиллерийский салют придавал какую-то особенную торжественность звучащим стихам.

Получалось примерно так. Я читаю строки:

...И все-таки в главном, большом, серьезном
Мы шли не колеблясь. Мы прямо шли.
И в лихолетье свинцово-грозном,
Мы на экзамене, самом сложном,
Не провалились. Не подвели.

(За стенами гром салюта)

Поверьте, это совсем не просто
Жить так, чтоб гордилась тобой страна,
Когда тебе вовсе еще не по росту
Шинель, оружие и война!

(Снова гром салюта)

Но шли ребята назло ветрам
И умирали, не встретив зрелость,
По рощам, балкам и по лесам,
А было им столько же, сколько и вам,
И жить им, поверьте, до слез хотелось!

(Салют)

За вас, за мечты, за весну ваших снов
Погибли ровесники ваши: солдаты —
Мальчишки, не брившие даже усов,
И не слышавшие нежных слов,
Еще не целованные девчата...

(Грохот орудий)

И так до самого конца. Последние строки:

Идите же навстречу ветрам событий.
И пусть вам всю жизнь поют соловьи.
Красивой мечты вам, друзья мои!
Счастливых дорог и больших открытий! —

потонули в последнем орудийном громе. И получилось так торжественно и красиво, что переполненный зал скандировал стоя. И я понимал, что относятся эти чувства благодарные не только ко мне, а к ним, и прежде всего к ним, к моим товарищам, вернувшимся и не вернувшимся с войны, стоящим сейчас незримо у меня за спиной...

Самый же трогательный сюрприз ожидал меня на вокзале. На перроне перед вагоном, в который я сел, появилась вдруг толпа молодежи. Она была пестрой и красочной. Ребята выстроились вдоль платформы и развернули афиши моих вечеров. Оказывается, это студенты Ленинградского университета через весь город примчались с Финляндского вокзала на Московский. Более десятка цветистых афиш, развернутых вдоль платформы, и гудящая толпа молодежи взбудоражили весь вокзал. Пассажиры повысовывались из вагонов: «В чем дело? Кто? Зачем? Почему?»

Я снова вышел на платформу и стал горячо пожимать ребятам руки. А они шумели, выкрикивали разом что-то очень хорошее, светлое, молодое! А когда мне пришлось все же войти в вагон и поезд медленно тронулся, парни и девушки, вскинув руки, стали дружно скандировать:

— До-сви-дань-я! До-сви-да-нья! До-сви-да-нья! — Ребята шли, а потом уже бежали рядом с идущим поездом, размахивая афишами и выкрикивая сквозь сумрак ночи звонкими голосами:

— До свиданья! Счастливо! Мы снова вас ждем!..

Давно позади остался оживленный вокзал. Давно уже мчался поезд мимо спящих, безмолвных и черных лесов, а в ушах моих все продолжало и продолжало звучать:

— До свиданья! Спасибо! Мы будем ждать!

Ленинград! На свете немало прекрасных городов. Много городов с замечательным и героическим прошлым. И все-таки нет такого города не только в нашей стране, но и на всем земном шаре который бы выстоял и вынес невероятные лишения и муки и проявил бы при этом такую волю и мужество! А главное, вынеся все это, не озлился, не оскудел душой. Напротив, развернулся, отстроился, расправил плечи и стал еще прекраснее и добрее. Низкий поклон тебе за это, замечательный город!

ОТВАГА, СЕСТРА УДАЧИ

На днях в Москву из Калинина приезжал мой старый фронтовой товарищ, преподаватель академии, гвардии полковник, кандидат военных наук Николай Никитович Лянь-Кунь. Это так, это если официально. Ну, а если просто безо всяких регалий, то дорогой мой дружище-артиллерище, братец мой названный Коля. Да что там названный! Если вспомнить, что дружбе нашей уже сорок лет и три года, то, можно сказать, просто родной человек! Мы познакомились

с ним летом 1941 года и с тех пор практически не теряли наших контактов никогда. Он стоит многих добрых слов и когда-нибудь я расскажу о нем подробнее. А сейчас я хотел бы остановиться вот на какой вещи: при встречах мы вспоминаем с ним былое, фронтовые дни нашей молодости. Находясь друг от друга вдалеке и занятые своими повседневными рабочими делами, мы, как правило, «сидим на крючке» у сегодняшних событий. И лишь при дружеских встречах (к сожалению, не таких уж частых) мы словно бы берем за руки и шагаем за временной порог. И вот что интересно (думаю, что эта особенность свойственна не только нам, но и вообще всем фронтовикам на свете): память наша имеет какую-то удивительную избирательность. Она очень неохотно обращается к событиям горьким и тяжким и, напротив, прямо-таки с удовольствием выхватывает случаи светлые, а порой и просто веселые. И хотя событий мучительных и трудных было, конечно же, неизмеримо больше, чем каких-то там веселых и светлых крупниц, тем не менее память наша, стараясь как можно меньше задерживаться на тяжком и горьком, охотнее всего останавливается вот на таких позитивных, жизнерадостных крупницах.

— А помнишь? — говорит мне Коля, и я заранее почти улыбаюсь, зная, что он сейчас напомнит мне какой-нибудь забавный эпизод.

— А ты помнишь?! — говорю ему я, и он тоже заранее начинает улыбаться, уверенный, что я напому ему тоже какой-нибудь курьезный случай или что-нибудь вроде веселого ЧП.

И хотя, повторяю, о сложных и грозных днях того времени мы говорим немало (война это война!), тем не менее и улыбаемся тоже часто. В одну из последних встреч, например, я вспомнил об отчаянно смелом и таком же отчаянно веселом пулеметчике нашей батареи Константине Кочетове. Припомнив несколько забавных его выдумок, я с уверенностью сказал: — Думаю, что такого лихого парня и весельчака не только в нашей батарее, но и во всем дивизионе не было!

Николай сначала согласно поддакнул мне, а затем, неожиданно хлопнув себя по колену, вдруг улыбнувшись, спросил:

— Постой, постой, а Шадрин?

Теперь уже заулыбался я. И в самом деле, как я мог забыть про Шадрина? Про неунывающего и хитроватого Петю Шадрина, наводчика 3-го орудия нашей батареи. Впрочем, слово «орудие» для нашей батареи было фактически устарелым. Стреляли мы не из орудий, а из совершенно тогда нового оружия — боевых ракетных установок «М-13» («катюши»). И оружие это было в те годы неслыханно грозным: в течение десяти—двенадцати секунд с каждой установки слетало по шестнадцать ракетных снарядов весом в пятьдесят килограммов каждый. В батарее было четыре установки. Я был наводчиком 2-го орудия, а остальные три наводили мои

коллеги: Шадрин, Шилов и Стрижов. Люди абсолютно разные по характерам, но настолько интересные, что о каждом, честное слово, можно было бы написать по рассказу. Да разве только о наводчиках? Думаю, что почти о любом из моих товарищей по войне, если только попристальной к ним приглядеться, можно рассказать много интересных вещей.

К сожалению, очень мало времени, до обидного мало. И все же о некоторых из них я, может быть, и успею еще кое-что поведать. Мне даже иногда кажется, что они, мои товарищи, как бы из глубины времен, а точнее, из тех, опаленных дымами и пожарами фронтовых лет, дружески и вопрошающе: «А ты помнишь? А ты не забыл о нас?» — смотрят на меня и улыбаются чуть застенчиво и печально. И я мысленно отвечаю им:

— Помню! Ну, конечно же, помню! И помню и расскажу и о строгом и молчаливом женоненавистнике Мише Шилове, и о суровом тяжелодуме Стрижове, и о долговязом «моряке» Пете Шадрине, и о многих других.

Впрочем, о Пете Шадрине я кое-что расскажу и сейчас, тем более, что мы с моим другом Николаем Никитовичем совсем недавно вспоминали о нем. Если пулеметчик Константин Кочетов был, что называется, ярко выраженным смельчаком, заводилой и балагуром — лихо выпущенный из-под шапки или пилотки чуб, озорно задранный курносый нос, отчаянно веселые, насмешливые глаза, — то Петя Шадрин был, если так можно сказать, потенциально скрытым, «глубинным» юмористом. Удачную кличку «моряк» носил Петя вовсе не за то, что когда-либо был связан с морем. Увы, во флоте Шадрин не служил никогда и на «гражданке» профессию имел самую что ни на есть прозаическую — пекарь. Но, как это нередко бывает, будучи самым сухопутнейшим человеком, Петя Шадрин мечтал о море. И единственной «морской» принадлежностью Пети Шадрина была тельняшка, бог весть где и как приобретенная им. И которую он не носил, ибо таких отклонений от сухопутной армейской формы строгий старшина Фомичев никогда бы не потерпел, да и из стирки она бы скорее всего обратно не возвратилась, а хранил он эту тельняшку в своем вещевом мешке и никогда никому не показывал, хотя о существовании ее знала вся батарея. Любимой же книгой Пети Шадрина была «Цусима» Новикова-Прибоя, которую он тщательно берег в том же выдавшем виды своем вещмешке вместе с тельняшкой.

Итак, как я уже говорил, Петя Шадрин был человеком веселым. Но если Кочетов любил передразнивать других, то Шадрин чаще всего сам был объектом для веселья. Причем это ему явно нравилось, и сощуренные глаза его всегда поигрывали добродушием и плутовством.

Зима 1941-42 года была лютая. Положение на фронте было еще лютей. И, чтобы не дать врагу окончательно задушить Ленинград в блокадном кольце и помешать ему накинуть на горло города второе

кольцо через Волхов и Тихвин, все наши полки и дивизии дрались не переводя дыхания. А наш 50-й дивизион «катюш» «М-13», единственный на две армии, носился из конца в конец вдоль всего Волховского фронта и в самых трудных и напряженных местах давал свои могучие залпы. В иные дни таких залпов было два, три и даже больше. Стыли мы крепко. С продовольствием нередко случались перебои, смерть постоянно крутилась рядом и все время скалила свои железные зубы. И все-таки народ у нас был такой, что не любил унывать. В любую, даже самую раструдную минуту находилось время для шутки. Петя Шадрин, как я уже сказал, на шутки не обижался. Напротив, еще больше веселя ребят, в такие минуты простовато ухмылялся от уха до уха и подмигивал то левым, то правым глазом. И надо сказать, что частым объектом для шуток был даже не столько сам Шадрин, сколько его знаменитая лысина. Шадрин был долговяз, сутуловат и носил на голове здоровенную лысину. Было ему всего тридцать три года, но для нас, двадцатилетних, он казался уже «старичком». А лысина его неожиданно прославилась так: однажды, на месте новой дислокации, гвардейцы рыли окопчики и землянки. Особенно старался шофер транспортной машины могучий сибиряк Костя Белоглазов. Он замерз и для того, чтобы согреться, орудовал лопатой, как небольшого размера экскаватор. Тяжелые порции суглинка пополам с песком летели из ямы непрерывным потоком. Вокруг Кости вился морозный пар, а лицо покраснело. Рядом с ним методично копал землю худощавый и светлобрый тамбовец Степа Шешенин. Вот он воткнул лопату в землю, по тер побелевшую щеку варежкой и, чуть окая, сказал:

— А морозец-то нонче знаменитый. Я, чай, градусов под сорок будет...

Белоглазов, могуче швыряя очередную порцию суглинка, не оборачиваясь, пробасил:

— Не дрейфь, дядя! Погода, конечно, не как у твоей бабы на печке, но, однако, никак не сорок. Это ты со страху перехватил. Я так думаю, что градусов тридцать, не больше.

Заспорили. В полемике стали принимать участие и другие бойцы. Кто говорил тридцать, кто тридцать пять, а кто и все сорок с лишним. И вот тогда-то всех удивил и рассмешил Петя Шадрин. Он вдруг шагнул вперед, прислонил к березе лопату и, шутливо подняв руку, воскликнул:

— Что за шум, а драки нет? Кончай базар! Сейчас я вам, хлопчики, определяю все, с точностью до одного градуса!

Таинственно и церемонно, словно цирковой фокусник, он снял с головы ушанку, отвел ее в сторону и, сверкнув желтоватой лысиной, с важностью произнес:

— Внимание! Не волнуйтесь! Тишина! И главное, все точно, как в аптеке!

И, несмотря на крепчайший мороз, он простоял так добрых полторы, а то и две минуты. Затем так же неторопливо надел ушанку и, многозначительно подмигнув, изрек:

— Температура ровно тридцать шесть градусов! Можно не проверять!

Все приняли эту сценку за шутку и начали острить, но подошедший в это время старшина Фомичев, растерев окуроч валенком в снегу, без всякой улыбки произнес:

— Почему же не проверять? Всякие сведения требуют проверки.

Он подошел к телефонисту Тихонову и деловито осведомился:

— Связь с дивизионом есть? Хорошо! А ну, дай зуммер ихнему телефонисту, спроси, какой нынче градус у него под сосной?

В штабе был единственный на весь дивизион градусник, который там хранили и берегли. Спустя несколько минут хрипловатый Тихонов, приложив руку к ушанке доложил:

— Он говорит, что тридцать семь градусов, даже чуть меньше!

— Вот это да!

Костя Белоглазов от избытка чувств с такой силой хлопнул Шадрину по спине, что от того вроде бы даже гул пошел, а сам Петя едва не переломился надвое. Но с этой поры шадринская лысина стала предметом гордости, как, впрочем, и шуток всей нашей батареи, а вскоре и всего дивизиона.

Выйдет, бывало, комбат Лянь-Кунь из своей землянки и деловито спросит:

— Ну что, Шадрин, какая нынче погода?

Шадрин тотчас же шапку с головы долой. Постоит с минуту с уморительно важным видом, а затем вытянется во фрунт и отпартирует:

— Тридцать два ровно, товарищ гвардии старший лейтенант. Можете не проверять!

— А не врешь, — улыбнется тот, — прибор с гарантией?

Шадрин вытирает плутоватые глаза, лихо прищелкнет валенком и по-уставному отчеканит:

— Так точно! Гарантия сто процентов, как в аптеке!

Несколько раз его все-таки проверяли. Но после двух или трех проверок убедились, что «прибор» действительно точен и действует безотказно в любой обстановке и в любой час.

Наводчиком Шадрин был превосходным и работал четко и быстро. Однако курьезов с ним случалось немало. Впрочем, я расскажу здесь лишь еще о двух.

В нашей фронтовой жизни мы повидали и испытали, честное слово, вероятно, все: и тяжелейшие многотонные бомбежки, после которых встаешь, наполовину оглушенный, некоторое время трясешь головой и еще не веришь, что остался жив и длительные, многочасовые,

методичные, выматывающие нервы артобстрелы, и барахтанье по колено в ледяной болотной грязи при вытаскивании застрявшей машины с боеприпасами, и круглые сутки без сна на огневой позиции при тридцатипятиградусном морозе в ожидании приказа «Огонь!», и многое, многое другое. Но вот приезд командующего фронтом... Такого еще не бывало никогда! И главное, что приезд был почти неожиданным. Причины потом высказывались разные. Но большинство сходилось на том, что командующий, а им был генерал армии Мерецков, захотел взглянуть на боевых гвардейцев, которые с полным зарядом ракет, среди бела дня, дерзнули проскочить через занятое немцами село Гайтолово, не потерять ни одной машины и, отъехав на безопасное расстояние, еще и дать залп по обалделому противнику. А такой случай действительно был. Произошло это во время нашего летнего наступления в 1942 году. Для поддержания продвигающейся пехоты нашу батарею гвардейских минометов выдвинули далеко вперед. Это был первый на Волховском фронте эксперимент со стрельбой «катюш» прямой наводкой. Эксперимент рискованный, но заманчивый крайне. Дислоцироваться мы должны были на островке. А для того, чтобы машины наши смогли туда попасть, стройбат в течение суток настелил из бревен довольно хлипкую гать, по которой тяжелые машины наши, хоть и с трудом (и с таким матерком водителей), но все-таки прошли. При обычных условиях «катюша» прямой наводкой стрелять не может. Опустить направляющие, или, как их еще называют, «спарки», мешает кабина. Но если врыть передние колеса в землю, то можно. Так и сделали.

«Бой у машин подвижный и короткий», —
В инструкции гласит одна из глав.
Но, чтоб стоять и бить прямой наводкой —
На то особый фронтовой устав.

Ни выстрела. Враг тишиной лукавил.
Напротив холм. Сейчас он тих и пуст.
Но лейтенант, дав угломер, добавил:
— Всем наводить на одинокий куст!

Это мои строки из поэмы «Снова в строй». Так оно все и было. Ровно сорок лет и три года прошло с тех пор, а я помню эти дни, как если бы пережил их только вчера. Отлично помню и просто отчетливо вижу, как я навожу перекрестье своей панорамы на этот самый одинокий куст... Как крутит рукоятки подъемного и поворотного механизма по моей команде недавно прибывший в нашу часть веселый и добродушный паренек с Урала Коля Пермяков. Крутит и все спрашивает:

— Ну как, братик Асадик, я верно кручу? Хватит или еще?

Волнуется. Это его первый бой. В изумленных голубых глазах и тревога, и возбуждение, и готовность мгновенно исполнить все, что

только прикажут. Прекрасный парнишка! Не знаю почему, но мне он понравился сразу, так сказать, с первого знакомства. Обычно работу эту выполнял уже немолодой, рыжеватый и несколько апатичный боец Софронов, но сегодня я велел Софронову подносить снаряды, а Коле Пермякову поручил это важное дело. А распоряжался я тут потому, что командир нашего орудия, гвардии сержант Кудрявцев, за неделю до этого был ранен и его отвезли в госпиталь. Так что я отныне был и наводчиком и командиром орудия одновременно. А звание у меня было в ту пору — гвардии младший сержант. Ну это я так, к слову.

Снаряды нам привезли новые, опытные «М-21», раза в два длиннее прежних. И, как потом оказалось, дающие огромный шлейф белого, как молоко, кислотовато-едкого дыма. Обычные снаряды «М-13» практически никакого дыма не дают, а только пламя и пыль от земли. Навели, приготовились. Ждем. После обеда немцы пошли в контратаку. И когда танки и пехота поравнялись с тем кустом, на который мы навели наши орудия, раздалась команда: «Огонь!». Прежде я никогда не видел, что называется, живыми глазами результатов нашей стрельбы. Мы ведь стреляли с закрытых позиций. А тут вон оно: все налицо! И картина, надо сказать, грандиозная! Все, что было до этого холмом, пехотой и танками, превратилось в сплошной вихрь вздыбленной земли, пламени и дыма!

— Наелись, сволочи! — подмигнул мне от своего орудия долговзый наводчик Петя Шадрин и вытер пилоткой знаменитую свою лысину.

Затем, вдохнув белый, горьковато-кислый дым, сплюнул и добавил:

— Ну и дымок, язвы его, с неделю теперь курить не захочешь!

Впрочем, через минуту не только курить, но и беседовать ни ему, ни всем нам уже не хотелось. Батарею нашу почти сразу же засекли и открыли по ней беспорядочный огонь. Но к вечеру, когда немцы снова поднялись в атаку, мы ухитрились дать еще один залп и снова с потрясающим результатом! Однако теряли товарищей и мы. Погиб в эту ночь у боевой установки славный и по мальчишески восторженный уральский парнишка Николай Пермяков. И знаком-то я с ним был всего две недели, а вот запомнил сразу и навсегда. Светлые люди не забываются.

За ночь положение на нашем участке ухудшилось. Фашисты продвинулись вперед. Наша пехота с островка отошла. Об этом мы узнали на следующий день от перемазанного соляркой лейтенанта-танкиста, который вышел к нам из кустов и удивленно воскликнул:

— Вы еще тут? А впереди ведь никакой пехоты! Вот только один наш танк. Мы его малость ремонтировали.

Комбат, старший лейтенант Лянь-Кунь, уточнил обстановку. Все точно. Положение было критическим. Гать, по которой мы приехали,

немцы с рассветом разбомбили в пух и прах. Так что о возвращении по прежней дороге нечего было и думать. И мы и танкисты оказались полностью отрезанными на острове. Комбат Лянь-Кунь и комиссар Свирлов провели с танкистами короткое совещание. Практически выход был только один. В случае, когда батарея попадает в безвыходное положение, когда спасти секретную боевую технику уже нельзя, то по инструкции полагается боевые установки взорвать, а личному составу просачиваться к своим. Но мы только что своими глазами видели великолепную, грозную мощь наших машин. За год войны мы успели привязаться и, честное слово, даже полюбить наших замечательных «катюш». Поэтому взорвать, уничтожить наших жарких и «голосистых» красавиц просто ни у кого не поднималась рука. И тогда мы решили: во имя спасения боевого оружия выход у нас есть — редкостный по своей дерзости, но с расчетом на неожиданность и с надеждами на удачу — прорваться по единственной дороге через занятое врагом Гайтолово к нашим частям. И танкистов и нас больше прельщал вариант номер два. Обычно никакие решения, принятые в армии командиром, не обсуждаются, тем более на войне. Таков железный армейский закон, четко изложенный в параграфах устава. Но на сей раз комбат и комиссар отошли от параграфов. И сделали, мне кажется, верно. Им хотелось, чтобы риск был осознанным, чтобы каждый ощущал полную меру ответственности за предпринимаемую довольно отчаянную операцию.

В момент затишья быстро собрали бойцов и командиров, и комбат, кратко обрисовав положение, спросил:

— Предлагается, товарищи, решить, какой из вариантов принять: первый или второй?

Несколько секунд висела тишина, а затем один, другой, третий, а потом и все разом выдохнули, как присягу:

— Второй! Взрывать не будем! Второй, товарищ комбат!

И отчаянный рейс начался. У наших машин скорость была выше, поэтому танк решили пустить позади, для прикрытия операции. В первую машину вместе со мной и шофером Васей Софоновым третьим втиснулся командова младший лейтенант Маймаев. В последнюю, замыкающую, — старший лейтенант Лянь-Кунь. Как мы летели по селу мимо обалдевших немцев, долго описывать не буду. Честно говоря, я и сам не очень-то занимался обзором местности. Помню только острейшее напряжение и желание удвоить и утроить скорость наших боевых машин. И одно острое опасение: если фашисты быстро опомнятся и дадут хотя бы очередь по колесам, то сразу конец. Скаты мгновенно спустят и операция закончится. Впрочем, не совсем. Было решено, что если с какой-нибудь из машин так произойдет, то командир орудия тут же поджигает бикфордов шнур, который держит в кулаке. Другой конец шнура уходит под сиденье, где ровными кирпичиками лежат тротилловые шашки. Ровно двенадцать штук.

И тогда взрыв тротила и ракетных снарядов, что лежат на спарках. А полные баки с бензином довершат дело. А чтобы не чиркать спичек, горящие самокрутки держали наготове, как самое главное оружие.

Не знаю, то ли немцы так были потрясены нашей наглостью, то ли они сразу не поняли, в чем дело, но стрельба их началась, когда мы уже выметывались из села. Танкисты же которых мы по маковку снабдили пулеметными лентами, в знак признательности за доброту и дружбу поливали врагов направо и налево свинцовыми трассами из всех сил. Впрочем, поливали фашистов свинцом не только пулеметчики — все, кто сидел на машинах, лупили из своего личного оружия, не щадя патронов: из автоматов, карабинов, винтовок. Но венцом всей великолепной операции был наш знаменитый гвардейский залп. Отъехав от села около пяти километров, мы развернулись и, так как на спарках наших установок лежал полный боекомплект, прицелились, навели и дали залп. Никогда, по-моему, ни я, ни Шадрин, ни Шилов и ни Стрижов не наводили с такой быстротой и точностью, как в этот раз. После только что пережитой смертельной опасности, ощущая особый душевный подъем, каждый солдат батареи работал с предельным накалом. И потери наши были малыми. Двое раненых, а убитых ни одного.

Командарм пятьдесят четвертой генерал-лейтенант Федюнинский, как нам говорили, отнесся к этой операции неоднозначно. Дело в том, что «катюши» в ту пору были на фронте еще редкостью. Их было мало, и оружие это было совершенно секретным. И рисковать такой техникой, которая могла попасть, пусть даже и искореженная, но все-таки попасть в руки врага, было делом уж слишком опасным. Говорят, что комдиву Мещерякову он сказал:

— Считаю, что батареи твои не столько между немцами проскочили, сколько между наградой и трибуналом!

Но вернусь к визиту командующего фронтом. Повторяю, что о причинах визита генерала армии Мерецкова в наш дивизион существовало несколько версий. Одни утверждали, что это был инспекционный визит, так сказать, на выбор. Другие, напротив, стояли на том, что командующий пожелал взглянуть на лихих гвардейцев-минометчиков, находились даже такие, что поговаривали, что у командующего просто забарахлила машина и он приказал шоферу завернуть в первую же воинскую часть по пути. Самые же премудрые знатоки, хитровато улыбаясь, многозначительно намекали на то, что предстоят, дескать, в скором времени очень важные операции и генерал армии хочет взглянуть на нас и, так сказать, поднять боевой дух. Короче говоря, версий было много. Мы же не без гордости склонны были думать, что командующий фронтом знает о нашем рейде и хочет как-то отметить нас, ну и вообще посмотреть на нас поближе. Так или иначе, но командующий прибыл в наш дивизион. И не один, а, как полагается, с целой свитой. И если сказать

откровенно нам никогда в жизни не приходилось видеть сразу такое количество самых крупных чинов и званий, начиная с командующего 54-й армией генерал-лейтенанта Федюнинского, который при встречах всегда величал нас «катушинными женихами». Подъедет неожиданно на белой «эмке» к огневой позиции, выпрыгнет из машины, борода клинышком, глаза озорные:

— Ну как, катушины женихи, к бою готовы? Письма из дома пишут?

А потом перестанет улыбаться, подойдет поближе и твердо скажет:

— Помните, что врага мы разобьем любой ценой. Но как скоро это произойдет, будет в значительной степени зависеть от каждого из вас.

Но такие встречи были редкими и о них говорили потом много и возбужденно, всякий раз гадая, что бы значил этот неожиданный визит. И вдруг приезд командующего фронтом!!!

Генерал армии осмотрел боевые установки. Задал несколько профессиональных вопросов дивизионному начальству и вышел на поляну, где был выстроен личный состав батареи. Командующий был невысок ростом и грузноват, но подвижен и легок в шагу. Он быстро шел впереди своей свиты и дивизионного начальства и о чем-то оживленно переговаривался с командиром дивизиона. Представляю себе, как нервничал наш комбат, когда, побледнев и набрав полные легкие воздуха, скомандовал:

— Батарея, смирно! — И, прижимая локтем бьющую по бедру кобуру пистолета, побежал навстречу генералу армии с рапортом. Голос у комбата от волнения звенел и чуть срывался. Мерецков добродушно кивнул головой и скомандовал:

— Вольно!

— Вольно! — как эхо повторил комбат.

И по тому, как доброжелательно выслушал рапорт командующий, и вообще по всему тому, как он среагировал на всю эту сцену, все чуточку перевели дух. Вроде бы ничего. Грозы, пожалуй, не будет.

Затем, встав перед строем и заложив коротенькие руки за спину, командующий негромко спросил:

— Ну, как живем, товарищи гвардейцы?

Батарея смущенно молчала. И хотя была команда «Вольно!», все стояли замерев и ели глазами начальство. Командир дивизиона, подполковник Мещеряков, разряжая молчание, с медовой улыбкой ответил:

— Живем хорошо, товарищ генерал армии, бьем немецко-фашистских захватчиков, не щадя!

Командующий взглянул внимательно на замерший строй и вдруг каким-то простым и почти домашним голосом спросил:

— Ну, а пожелания какие-нибудь есть?

Я видел, как раскрыл было рот наш комдив, чтобы ответить что-

нибудь вроде того, что все в порядке и никаких пожеланий нет, как вдруг из рядов отчетливо и звонко прозвучало:

— Есть! — это гаркнул из второго ряда пулеметчик Константин Кочетов. Все повернулись к нему: гости с выжидательным любопытством, а свои тревожно и угрожающе.

— Есть! — снова повторил Костя Кочетов. И, глядя на командующего смелыми и чуть смеющимися глазами, добавил:

— Чтобы скорей добраться до Берлина!

Все заулыбались, а Мерецков мягко сказал:

— Хорошее пожелание. И чем крепче мы будем этого хотеть, тем скорее завоюем победу! Нам сейчас очень трудно, но будет легче!

Затем командующий пошел вдоль застывшего строя гвардейцев. И вот тут-то произошло то, о чем долго еще вспоминали в дивизионе.

Подойдя к долговязому Шадрину, командующий вдруг широко улыбнулся и спросил:

— А что это ты, голубчик, такой худой? Может быть, кормят плохо?

Представляю, как забеспокоилось сейчас батарейное да и дивизионное начальство. А ну как возьмет да и пожалуется солдат?!

Кормили нас по тем временам более чем прилично. По крайней мере жили мы в несколько привилегированном положении по отношению к другим частям, и харчишки наши были, пожалуй, получше, чем у многих. Но это «лучше» было, повторяю, лишь по тем военным временам. Плюс к тому уставали мы страшно, весь день были на воздухе, и кормежки в общем-то хватало не очень. Во всяком случае, каждый мог бы без малейших затруднений съесть еще столько же. Поэтому все, замерев, ждали, что ответит солдат. Шадрин был весельчаком, но в глупых никогда не хаживал. Он вытянулся во фронт, еще сильнее подобрал живот и отчеканил:

— Никак нет, товарищ генерал, питают превосходно!

Не знаю, поверил командующий Шадрину или нет, но, вдруг как-то весело и лукаво улыбнувшись и глядя снизу вверх на замершего солдата, он погладил себя по кругленькому животу и, засмеявшись, спросил:

— Ну, а если кормят тебя превосходно, тогда скажи, пожалуйста, почему вот ты, к примеру, такой худой, а я совершенно наоборот?

Что мог сказать Шадрин? Все буквально застыли, не шевелясь. Но Шадрин, все так же без улыбки, лишь плутоватые огоньки в глазах, вытянувшись еще больше и глядя сверху, как с каланчи, пробасил:

— Осмелюсь доложить, что главная тут разница происходит по причине вашего ума, товарищ генерал!

— То есть как так? — озадаченно спросил командующий фронтом, еще не перестав улыбаться.

— А так! — уже совсем осмелев, твердо отрапортовал Шадрин. — У меня мозгов избытка нет. А у вас, напротив, будь здоров сколько.

И ума у вас столько, что в голове, стало быть, уже не помещается и в живот пошел!

Острое напряжение разрядилось взрывом могучего хохота. Смеялись все: и гвардейцы, и командиры, и гости, а больше всех, кажется, сам командующий. Говорят, что даже уже садясь в машину он, вспомнив о Шадрине, улыбаясь, сказал:

— Как он это насчет ума? Ах да, в голове, говорит, не помещается, так в живот пошел? Ну и сукин сын! А ведь не глуп! Право, не глуп!

Второй случай, который произошел с Шадриним, был несколько иного плана. Он был не таким веселым, как первый, хотя и имел совершенно неожиданную развязку. Но расскажу все по порядку.

Огневая позиция нашей батареи находилась примерно в шести километрах от села Вороново. Стреляли с закрытой позиции. Дали залп. Зарядили снова. Однако ракетных снарядов оказалось всего на две установки. Зарядили мое орудие и орудие Шадрина. Как всегда, орудия навели по буссоли. Ждем. Однако команды стрелять все нет и нет. Комбат приказал замаскировать орудия. Дело в том, что без чехлов, да еще заряженные серебристо-сверкающими ракетами, боевые установки наши были отличной мишенью с воздуха. А происходило это в августе 1942 года, и комбат у нас к тому времени был уже новый. Прежний командир батареи старший лейтенант Лянь-Кунь получил повышение и был переведен в другую часть на должность командира дивизиона. К нам пришел новый комбат, старший лейтенант Рякимов. (Сейчас, как я слышал, он генерал-лейтенант.) Отлично помню и по сей день его высокую, худощавую фигуру, смуглую кожу (что-то в лице его было вроде бы татарское), черные острые глаза и некоторую молчаливую суровость.

Около двух часов ожидали команды к стрельбе. Но ее не было, а пришел из штаба приказ готовить к бою только одно орудие, остальным пока отдыхать. Оставили наготове мое. Машину Шадрина отвели в сторону и замаскировали. На передовой наступило затишье. Самолетов над головой никаких. Синее небо, буйная зелень, заросшие цветами поляны... Ну просто редкая минута: мир на войне...

Старшина наш Фомичев с писарем Фроловым принесли в термосах обед. И какой обед! Горячий борщ, да такой, что от запаха одного закачаться можно. А на второе тушенка с гречневой кашей. А перед тушенкой этой еще и «боевые, фронтовые сто грамм»... Короче говоря, райская жизнь. Пообедали. Закурили. День был знойный. Даже сквозь ветки солнце припекало ощутимо. Младший сержант Шадрин вытер ладонью вспотевший лоб, с хрустом потянулся и сказал:

— Войны вроде никакой нет. Да и жарковато тут. Заберусь-ка я в свою дорожную кабиночку. Там попрохладней, да и комары не кусают. Может, и припущу с полчаса ухитрюсь.

Он открыл дверцу своей боевой установки. Опустил на лобовое стекло броневой щит, забрался на сиденье. И, устроившись там

пудобней, сладко закрыл глаза. Большинство тоже разбрелось кто куда. То ли тишина была тому причиной, то ли довольно редкостная для северных краев, чуть ли не крымская погода, а всего вернее и то и другое вместе, но все почему-то решили, что стрельбы сегодня уже не будет.

Резкая команда: «Снять маскировку!» — прозвучала совсем неожиданно и словно бы хлестнула по нервам. Помню, что пока хлопцы мои сбрасывали березовые и хвойные ветки с направляющих, я уже был в кабине. Движения привычные и почти автоматические: правой рукой вставить ключ в пульт ведения огня. Повернуть вправо.левой рукой включить рубильник. А перед этим проверить, чтобы в окошечке, показывающем, какая из направляющих включена, стоял либо нуль, либо красный кружок. Затем приготовиться и взяться правой рукой за рукоятку стрельбы, замереть и ждать новой команды. Сейчас она прозвучала почти сразу же после команды «Снять маскировку!». Вот она, такая знакомая и словно бы услышанная в первый раз:

— Огонь!

Уставную команду перед этим — «Расчет в укрытие!» — уже не подавали. Боевой опыт гвардейцев был таким, что все происходило мгновенно и как бы само собой. И когда звучала команда «Огонь!», расчет был уже на безопасном расстоянии. Итак, команда:

— Огонь!

Знакомым движением ритмично и плавно кручу рукоятку огня. Первый оборот, и вместо красного кружочка в окошке появляется нуль. Второй оборот — исчезает нуль и на его место выскакивает единица. Одновременно ощущаю привычный толчок установки и нарастающий рев. Это значит, что первая ракета, выбросив позади себя красно-белый огненный шлейф, с грохотом пронеслась над моей головой по спарке и ушла к цели. Новый оборот рукоятки, и сразу же второй толчок машины, и в нарастающем гуле к цели пошел второй снаряд. Поворот — толчок — рев, поворот — толчок — рев. Размерно и быстро кручу рукоятку. И в это же самое время боковым зрением, почти похолодев, вижу слева за стеклом кабины, как раз с того места, где стоит боевая установка Шадрина, мощные бело-красные языки пламени, высокий вихрь травы, земли и листьев — и такой же грохот, как и позади моей машины. Впрочем, даже еще мощнее, так как гул моих ракет где-то позади, а рев шадринской установки почти в упор в левое ухо. Продолжаю докручивать свои обороты, все положенные шестнадцать, и одновременно холодею все больше и больше. Шадринская установка никуда не наведена. Она стояла, уткнувшись в кусты, и была направлена практически никуда, а точнее, почти параллельно линии фронта. Больше того, на установку был натянут брезентовый чехол. Первая же ракета чехол этот сорвала, вынесла вперед и вверх метров на пятьдесят, а затем, пробив в нем

отверстие, вырвалась наружу и ушла вперед, а чехол, как громадная подбитая птица, повернувшись в воздухе, хлопнулся вниз. А вслед за первой ракетой уже летели и летели следующие, пока последняя, шестнадцатая, проревев и сверкнув мощным пламенем, не скрылась вдали.

Как потом выяснилось, Шадрин спал в кабине богатырским сном. Но каким бы ни был крепким у артиллериста сон на войне, все равно он не мирный, все равно фронтовой. Несколько часов установка Шадрина была наведена на цель. И это, очевидно, четко отпечаталось в его подсознании. А вот то, что орудие его затем было отведено в сторону, во время сна куда-то провалилось. И при первых же звуках стрельбы Шадрин, встрепенувшись и еще не проснувшись до конца, почти автоматически сунул ключ в гнездо, включил рубильник и закрутил рукоятку ведения огня. Опомнился и окончательно очнулся он лишь тогда, когда над ним и над всей нашей огневой повисла внезапно наступившая зловещая тишина. Я видел, как вылез из кабины на смерть перепуганный и побелевший как снег Шадрин. Видел, как ошалело и беспомощно уставился он на подходящего к нему почти безмолвного от ярости комбата Рякова. Сквозь смуглоту комбатовских щек над закаменевшими скулами проступал полыхающий багрянцем румянец. Комбат шел, мелко переступая с каблук на носок, точно готовясь к яростному прыжку и, подойдя вплотную к бедолаге, встряхнул его за плечи и, вонзаясь в него суженными черными зрачками, не произнес, а почти сдавленно прошептал:

— Ты куда стрелял, паршивец? Ну, говори, куда?!

Вот как раз именно на этот-то вопрос Шадрин меньше всего мог дать вразумительный ответ. Он стоял, плотно сжав губы и глядя куда-то вдаль остановившимся взглядом. И на лице его было столько муки, что комбат не выдержал, перевел дух и уже другим, более спокойным голосом сказал:

— Ладно, разберемся. Ступайте в землянку и ждите распоряжений. Пока все!

Тревожное ожидание, как незримое облако, повисло над батареей. Куда ушли снаряды? Что произошло? И что вообще теперь будет? Оставалось только ждать и надеяться, что снаряды легли куда-нибудь на безлюдный участок или еще лучше в глухое болото. Шадрин был превосходным артиллеристом, и то, что произошло, не было, пожалуй, его ошибкой, и это даже был не просчет, такого с Шадриним случиться попросту не могло. Произошла реакция почти рефлекторная, которая сработала в еще не до конца проснувшемся мозгу. И тем не менее дело могло кончиться скверно. Не хотелось даже думать, как именно. Петя Шадрин был хорошим воином, настоящим товарищем и вообще веселым и добрым человеком. И в батарее его любими. Напряжение длилось примерно около трех или четырех часов. К вечеру на проселке запылила «эмка» из штаба армии. Из нее

выскочил весь какой-то новенький и чуть ли уж не отутюженный майор и коротко спросил у первого встреченного им бойца:

— Где ваш комбат?

Вместе с ним из машины вылезал начштаба дивизиона. Но комбат, на ходу одергивая гимнастерку, уже сам спешил навстречу прибывшим. Лицо бледное, но спокойное. Владеть собой Рякимов, если надо, умел. Поднес к фуражке руку. Доложил. И замер, ожидая тяжких вещей. И вдруг совершенно непонятное: майор дружески улыбнулся и затряс руку недоумевающему комбату. А затем и совершенно поразил его и всех нас, с тревогой наблюдавших издали всю эту сцену, обнял старшего лейтенанта и, еще шире улыбнувшись, спросил:

— Ну то, что вы лупите, как боги, это мы знаем. Но откуда вы узнали про этот немецкий десант? Ведь вы грохнули по нему раньше, чем мы в штабе получили сведения от пехоты!

Честное слово, надо было видеть быструю смену настроений на выразительном лице нашего комбата. Сосредоточенно скорбное, оно стало затем удивленно задумчивым, а через минуту и загадочно-многозначительным:

— А нам некогда ждать, пока раскачается пехотная разведка,— окончательно придя в себя и на сей раз уже с абсолютно непроницаемым лицом произнес он.— У нас своя разведка работает прилично. А времени было в обрез. Вот, собственно, и все.

Мы стояли, и ликующая радость заливала наши сердца. Гроза над шадринской головой миновала. Больше того, он становился чуть ли не героем дня! Шутка ли, грохнул все снаряды прямо в немецкий десант!

А майор весело и взволнованно продолжал:

— Молодцы товарищи! Фашистов там было что-то около роты. Они в стыке между двумя нашими дивизиями просочились. Нашли проход по болоту. Даже несколько минометов протащили. В общем, бед натворили бы много. А вы вмазали, как в десятку, ну лучше не бывает! Молодцы! Кстати, покажите-ка нам этого лихого вояку. Кто стрелял?

Комбат сделал едва уловимый знак старшине, тот понимающе кивнул и кинулся к землянке Шадрина. И пока комбат беседовал с приезжими, Шадрин быстро извлекли из землянки, ввели в курс дела, приказали принять соответствующий вид и явиться пред начальственные очи. Что, собственно, он и сделал с большим мастерством и умением. А когда гости уехали и все дружески хлопали Шадрину по плечам, комбат одним движением бровей остановил веселье, затем подошел к Шадрину и тихо сказал:

— Объективно ты вроде и герой. Но для меня, да и для себя самого ты, Шадрин, можно сказать, почти штрафник. Верно? Тебя вон к награде посоветовали представить. Но я с этим торопиться не буду. Погляди, как будешь воевать дальше.

— Так точно! — жизнерадостно пробасил уже окончательно пришедший в себя Шадрин. — Воевать буду так, что Гитлеру кисло будет. А насчет награды ничего. Подождем. Все равно никуда не денется!

И действительно, боевую медаль Петя Шадрин получил. Правда, не за этот бой, а за другие, но этот эпизод, я думаю, запомнил он до конца своих дней. Еще бы! Ведь это был бой, когда ему улыбнулось настоящее военное счастье. Да еще какое!

НОВЫЙ 1979 ГОД

Не сомневаюсь, что эту зиму москвичи, да и не только москвичи, запомнят крепко. А крепкой этой памяти будут способствовать крепкие морозы. Таких, мне кажется, не было почти сорок лет, а точнее, тридцать девять. Такой была зима 1940 года. Ну, и 1941-го тоже. Впрочем, военную зиму я помню по морозам ленинградским, а какая точно была зима под Москвой, я не знаю. Хотя, говорят, тоже очень серьезная. Тогда она была в какой-то мере нашей союзницей. Нам было холодно, а солдатам «великого рейха» еще морознее. Не зря же есть поговорка: «Что русскому здорово, то немцу — смерть». Это верно. Повидал я этих замороженных фрицев предостаточно. Странное совпадение. Два года подряд были тогда морозы. Два студеных года и две войны: война с белофиннами и Великая Отечественная. словно бы вся природа русская восстает против наших врагов и старается приморозить их к месту. Надеюсь, эта морозная зима будет абсолютно мирной. Но Дед Мороз воет вовсю. Сегодня 30 декабря, и на градуснике 37 ниже нуля! Ничего себе! Но я все равно вышел утром и гулял по переделкинскому саду ровно сорок пять минут. И даже ушей у шапки не опускал. Видимо, детство и юность, проведенные в Свердловске, не прошли зря. Я словно бы вобрал в свою душу, в сердце, в каждую пору своего тела это белое пламя, эту хрустящую, бойкую и колючую радость. Ну и еще «подзакалила» меня морозная война.

Правда, там мерзнуть нам приходилось крепко. Иногда стояли на промежуточных или огневых позициях почти целый день. Установим «катушки», наведем и пляшем на тридцатишестиградусном морозе. Жгли маленькие костерки. Но разве же они могли помочь? отошел на полшага и опять замерз. Один бок подгорает, другой стынет в камень. Гвардии ефрейтор Костя Кочетов из Йошкар-Олы, веселый и никогда, ни при каких условиях не унывающий, больше всех я любил его в батаре, начинал изображать, как Асадов мерзнет. Опустит уши на шапку, поднимет воротник, втянет руки в рукава, широко, как подбитая птица, растопырит локти и, согнувшись в три погребели, начинает, мелко-мелко перебирая ногами, семенить, подпрыгивая вокруг улыбающихся солдат, что-то сердито приборматывая и дуя

в кулаки. Ребята тоже все замерзли, у всех красно-синие физиономии и все тоже прыгают, стуча валенками по утрамбованному снегу, но шутка все-таки согревает, как дополнительный глоток водки или чаю. Конечно, Костяка, стервец, преувеличивал, но представлял талантливого. Глаза смотрели озорно, а курносый нос шмыгал весело и ехидно.

Эх, Костя, Костя, славный парень, лихая голова, если бы ты только знал и если бы знал хоть кто-нибудь из нас, что всего через три-четыре месяца ты уже не будешь ни угощать товарищей махрой, ни шутить, ни улыбаться, ни топтать по земному шариксу...

А погиб Костя Кочетов в июне 1942 года во время весенне-летнего наступления наших войск под Ленинградом. В ту пору мы делали яростную попытку прорвать фашистскую блокаду. Все, от командующего фронтом до рядового бойца, знали и помнили ежедневно о муках, которые переживал город, и страшном голоде, косившем его жителей куда больше, чем осколки бомб и снарядов. Враг сопротивлялся упорно и злобно. Тогда у него было еще довольно сил, и он швырял в бой все новые и новые резервы. На Волховском фронте со стороны Гайтолово войска наши глубоко вклинились в оборону фашистов. Но дальше пройти не смогли. Менять позиции не позволяла болотистая местность. На головы гвардейцев почти непрерывно сыпались мины, снаряды и бомбы. Наступление наше захлебнулось, обстрел позиций шел непрерывно, и настроение у хлопцев было не самое лучшее. Гвардии ефрейтор Константин Кочетов был пулеметчиком. Меня могут спросить: откуда и зачем пулемет в артиллерийской батарее? Но это был не простой пулемет, а спаренный, и стоял он на грузовой машине и предназначался главным образом для зенитной обороны, то есть для прицельной стрельбы по самолетам во время их налетов на батарею. Костя владел пулеметом отлично. К сожалению, по скромности своей он никогда не фиксировал попаданий во вражеский самолет. Хотя, я уверен, делай он это порегулярней, грудь его украшала бы не одна заслуженная награда. А он, если ему даже случалось заставить задымиться вражеский «юнкерс», чаще всего начинал балагурить и чуть ли не отрекался от собственных заслуг. Впрочем, награда бы все равно не миновала, непременно нашла бы его, если бы не опередил ее вражеский снаряд... В тот день батарею нашу особенно ожесточенно обстреливали и бомбили. Бойцы, как и положено было в таких ситуациях, находились в укрытии по окопчикам и блиндажам. Но едва обстрел заканчивался и начиналась бомбежка, Костя Кочетов был уже на грузовичке за своим пулеметом. И его крупнокалиберные стволы с басовитым грохотом швыряли трассирующие струи навстречу вражеским самолетам. Но вот один из самолетов задымился и, резко клонув, пошел, заваливаясь на крыло, полого вниз. И тут у Кости кончились патроны. Владел же всеми огневыми средствами подразделения «мстерский богомаз» — как в шутку заочно величали мы старшину батареи Фомичева. Старшина был

человеком щедрым на слова и скуповатым на вещи и боеприпасы. Впрочем, когда Костя Кочетов, например, являлся к нему с категорическим требованием пополнить его боезапас, старшина хоть и вздыхал с тяжелой грустью, но давал все, что требовалось, и порой даже с избытком. К веселому и отчаянному Косте старшина, впрочем, как и все в нашей батарее, испытывал некоторую слабость. И я, если хотите, живое тому подтверждение. Прошли годы, прошли десятилетия с тех памятных дней, а я, вспоминая порой свою батарею и боевых побратимов, все-таки чаще других воскрешаю в своей памяти именно его, Костю Кочетова, а точнее, гвардии ефрейтора Константина Петровича Кочетова, 1920 года рождения, из Йошкар-Олы.

Но продолжу рассказ: итак, патроны у Кости кончились. Боевые машины с огневой еще не возвращались. И все, кто оставался в расположении батареи, ждали их с нарастающим напряжением. За патронами Кочетову надо было пройти до землянки Фомичева метров сто или сто пятьдесят. Разумнее всего было переждать бомбежку и обстрел и, перебегая между деревьями, добраться до землянки старшины. Но Костю, как я теперь думаю, впрочем, я даже в этом уверен, охватила злость. Злость на абсолютно обнаглевших врагов, которые старались подавить в нас дух борьбы, веру в себя, в свои силы и в грядущую победу. Они беспрерывно пытались сокрушить нас, методично чередуя огневые средства: бомбежка — обстрел, бомбежка — обстрел, снова бомбежка и снова обстрел. И душа Кости взбунтовалась и против этой самоуверенной мощи и против оглушительного воя сирен на пикирующих бомбардировщиках, заставляющих человека инстинктивно плотней прижиматься к земле. И ему, я убежден, захотелось поднять дух товарищей, показать полное пренебрежение к упорному огню врага и вообще как-то, может быть, морально разрядиться, что ли! Разжав ладони и отпустив горячий умолкший пулемет, Костя спрыгнул на землю и не пригнулся, не лег в укрытие и даже не стал перебегать от дерева к дереву, а вышел на дорогу. Эта проселочная дорога, поросшая травой и папоротником, тянулась по лесной просеке, а слева и справа вдоль нее находилось расположение батареи: землянки, окопчики, оружейное хозяйство и вообще все, чему положено быть в воинском подразделении. Не пригибаясь и не прячась от осколков, Костя Кочетов вышел на середину дороги. Вышел, не торопясь закурил и улыбнулся с какой-то злой веселостью. Затем заломил на затылок пилотку, сунул руки в карманы брюк и, словно не замечая грохота разрывов и визга осколков, пошел вразвалку вдоль дороги, покрикивая: «Ну что притихли, ребятишки? Не надоело еще носами землю рыть? Ну как, может, споем, гвардейцы? Не дрейфы! Наша возьмет! Смотри веселей!»

Меня в это время на батарее не было. Я находился на огневой и вернулся лишь к развязке событий. Шел и шел Константин Кочетов

по лесной просеке, не торопясь, все так же держа руки в карманах, попыхивая самокруткой, шел с полным презрением к смерти и чуть усмехался. И я повторяю, что не столько тут было какой-то бесшабашной лихости, сколько ненависти к врагу и желания ободрить друзей. И это был, вероятно, главный час его жизни! У развилки дороги выскочил навстречу ему бледный и взволнованный старшина, прижимая к груди запасные коробки с патронами. На все требования Фомичева забраться на время в укрытие Кочетов с упрямой веселостью только махнул рукой. И снова той же дорогой, прямо посредине просеки, так же неторопливо, словно бы и не было никакого огня, Константин двинулся в обратный путь. И это подействовало. Подошла боевая машина с огневой, и никто не стал пережидать обстрела в укрытии, а моментально начали раскрывать ящики и заряжать установку снарядами «М-13», а точнее, боевыми ракетами. Артиллерийский налет затих, и снова вынырнули из-за леса два «юнкера» и один «мессершмитт». Костя Кочетов был уже на грузовике и медленно водил из стороны в сторону стволами своего пулемета. По самолетам стреляли из винтовок, откуда-то слева начали бить зенитки. А Костя, пригнувшись и чуть поводя стволами, ждал. Широкоплечий, сероглазый, с добродушным курносым лицом, сейчас он был похож на застывшую в напряжении птицу. Еще минута-другая, и из стволов его «работяги», как он порою называл пулемет, хлестнули две огненные струи. И почти сразу же, с первой очереди он поджег «юнкерс». И это видели все, вся наша батарея и все наши соседи. «Юнкерс» запыхал и, с ревом перелетев наше расположение, грянул в болото. Остальные два пошли сразу же в атаку на грузовичок, туда, откуда вырывались алые нити трассирующих пуль. «Юнкерс» сбросил бомбу. Она с воем пронеслась над Костиной головой и грохнула в стороне. Костя стрелял и стрелял, по временам смахивая струйки пота и приговаривая: «Еще не отлита та бомба, которая шлепнется на меня! Еще не отлита, не отлита, не...»

И не договорил. Крупнокалиберной пулеметной очередью прошил «мессершмитт» и кабину «газика», и пулемет, и от плеча до плеча самого Костю. Видно, чувствовал его живучесть злобно-перепуганный летчик. Ровно семь пуль вогнал он в широкую Костину грудь. Многих друзей потеряли мы в те трудные месяцы, но никого с такой горечью и болью не провожала батарея наша, как Константина Кочетова.

— И жил хорошо, и сражался бесстрашно, и умер, как орел! — сказал про него под треск винтовочного салюта комбат Николай Никитович Лянь-Кунь.

Не знаю, насколько горьковские слова могут относиться к другу моему Константину Кочетову, но когда я слышу знаменитое «Безумству храбрых поем мы песню» — то почему-то прежде всего вспоминаю о нем.

Впрочем, я не об этом сейчас, а о зиме. Завтра, в ночь йод новый

1979 год будет, как обещает институт прогнозов, 45 градусов мороза. Между прочим, как все в мире индивидуально. Мой друг поэт Василий Федоров родом из куда более студеного места. Он сибиряк. Но морозов он, по его же собственным словам, боялся и не любил. Он объяснял это тем, что когда-то в детстве замерзал и раз едва ли не замерз совсем. И все равно, повторяю, что нет на сей счет единого правила. Видимо, кто как запрограммирован, что ли. Я тоже мерз в свое время так, что не дай бог никому на свете! Иногда спустишься в землянку и ни полшубка расстегнуть, ни губами шевельнуть сразу не можешь, а на веках стеклянная корочка. Но вот зима и по сей день, может быть, самая любимая мною пора года. Почему? Не знаю. И не надо думать, что я теперь не мерзну. Мерзну, конечно. Не каменный же! Но вот жара для меня во много раз хуже. Она меня словно бы расслабляет. А зима, даже морозная, подымает мне настроение, как-то мобилизует, что ли. Да, жизнь парадоксальна. Вот Федоров — родился в Сибири, а морозов не выносит. А я родился в жаркой, огнедышащей, можно сказать, Туркмении и прожил там до шести лет, и потом неоднократно в детстве и юности приезжал туда. Например, кончал там восьмой класс и все лето жарился до африканской черноты на Мургабе, то ныряя, то коптясь и поджариваясь на песке, как пескарь на сковороде. А вот уральские зимы полюбил, привык к ним, и сегодня свердловские морозы мне даже ближе, чем азиатская жара.

КОЧЕТОВ И ФОМИЧЕВ

Перечитал я некоторые страницы моих фронтовых воспоминаний. Особенно долго сидел над строками о друге моем Косте Кочетове. Молчал и никак не мог перевернуть страницу, расстаться с ним, пойти дальше. Я закончил рассказ о Кочетове, если так можно сказать, на мажорной, но трагической ноте. Каким он был, этот ушедший в бессмертие человек? А был он и на редкость простым и одновременно беспрдельно отважным. И погиб, по самым высоким военным критериям, как герой. И если бы я был скульптором, то непременно изваял бы его в момент последнего боя. Очень легко представляю себе этот превосходный памятник. На гранитном постаменте, изображающем угол кузова грузовика с открытыми бортами, бронзовая фигура солдата. Невысокого роста, плечистый, туго перепоясанный ремнем, стоит он, чуть пригнувшись, с расстегнутым воротом гимнастерки, словно бы припаянный к зенитному пулемету. Ладони стиснуты на рукоятках, оба больших пальца до отказа давят на гашетку. Из-под сдвинутой на затылок пилотки выбился лихой русый чуб, на лбу крупные капли пота. Смуглое курносое лицо, туго обтянутое кожей, закаменело, полное холодного напряжения и ярости. Из серых, сощуренных в щелочку глаз, через прицел пулемета, вместе с двойной алой нитью трассирующих пуль, хлещет по «юнкерсам» бесстрашный, испепеляющий взгляд.

Я долго стою перед этим, созданным моим воображением, памятником. Не знаю почему, но в мозгу всплывают вдруг строки Пушкина из «Полтавы»: «Он весь, как божия гроза!»

Но там царь Петр, великий человек и полководец, а тут всего лишь гвардии ефрейтор Константин Кочетов, и больше ничего. А почему всего лишь? И почему «больше ничего»? А может быть, это и величественно и огромно?! А почему же и нет! И почему эта пушкинская строка не исчезает, а продолжает звучать в моей душе? Я молча снимаю шапку перед памятником отважному русскому солдату и кладу к его подножию огромный букет, — нет, не один, а множество букетов, которые получил я как поэт и как солдат тоже. Задумавшись перед этим бронзовым памятником, я ловлю себя и еще на одной, может быть, странной мысли. Стоя перед бронзовым солдатом, я до острой боли хочу встретиться с ним живым, веселым и жизнерадостным человеком — любимцем батареи, тем самым боевым, полным искрометной энергии Костей, которого видел практически каждый день и память о котором пронес через все послевоенные годы.

И вот сейчас, силой своего воображения, я словно бы на мгновение переключаю кадры, и на ярчайшем экране памяти снова появляется живой и абсолютно невредимый Константин Кочетов, там, на лесной поляне, в минуту затишья, окруженный бойцами нашей батареи. Вижу вновь его озорные глаза и такую же озорную улыбку. Я уже рассказывал о веселом спектакле Кочетова, когда он изображал ребятам, что называется, в красках и лицах, как «Асадов мерзнет». Вторым коронным номером в веселом арсенале Константина Кочетова был старшина Фомичев. И демонстрировал он свою пантомиму при двух неперменных условиях: если был в особом артистическом ударе и, разумеется, если грозного старшины нигде в обозримом пространстве не было. В такие минуты он с неподражаемым мастерством изображал почтенной публике, как старшина боится самолетов. Дело в том, что Фомичев был значительно старше нас по возрасту. Ему было где-то около сорока. Дома, в родной Метере, ожидало его многочисленное семейство: родители, жена, дети. И будучи, видимо, по этой причине человеком осмотрительным и чуточку осторожным, нам, молодым, он казался попросту робким и даже трусоватым.

И вот бывало так: прыгают ребята на холоде возле замаскированных орудий, притопывают валенками, а команды к стрельбе все нет и нет. Покажет, как я уже говорил, Константин друзьям-товарищам, как Асадов мерзнет, и под одобрительный хохот остановится, чуть раскрасневшись, и наслаждается успехом, глядя вокруг озорными нахальноватыми глазами.

И тогда кто-нибудь, давась от смеха, попросит:

— Кость, а Кость! А теперь, будь другом, старшину представь!

Кочетов незаметно оглянется, не стоит ли где-нибудь поблизости Фомичев, а затем, словно бы неохотно, спросит:

— Ну, а землянка какая-нибудь рядом есть?

— Есть, есть! — ответит ему сразу несколько голосов. — Смотри, вот тебе и землянка. И вход узкий, что называется, первый сорт!

— Ну ладно, — соглашается Костя и произносит голосом избалованной заезжей знаменитости:

— Дайте карабин!

Не глядя, он протягивает руку в сторону, и ему тут же услужливо вкладывают в варежку карабин. Он просовывает руку и голову под ремень и перекидывает карабин за спину. Приготовления закончены. И вот уже никакого Константина Кочетова нет. Под березой, надвинув глубоко на голову шапку и широко расставив ноги, стоит с невероятно озабоченным лицом «старшина Фомичев». Чуть прищуренные глаза его беспокойно осматривают небосвод: нет ли где-нибудь самолета? Слава богу, кажется, нет. Тогда «старшина» неторопливо начинает скручивать здоровенную «козью ножку». С такой же величайшей важностью черпает ею из кисета махру и величественно закуривает. Самосад, присланный из дома, продирает до души, и на лице у «Фомичева» блаженство. И вдруг лицо это начинает медленно вытягиваться, устремленные ввысь округлившиеся глаза останавливаются там, вдали, на какой-то, видимой лишь ему точке. Во всем облике панический страх.

— Воздух! Товарищи, воздух! — сильно окая, кричит он на весь лес.

И снова, уже чуть приседая:

— Воздух! Воздух!

Затем «старшина» срывается с места и, по-бабьи виляя задом и смешно перепрыгивая через сугробы, торопливо бежит к землянке. «Старшина» добежал до землянки. Но спускаться по ступенькам вниз некогда! Словно купальщик в воду, он ныряет вниз, в темное нутро землянки. Но висящий поперек его тела за спиной карабин застревает в проходе. Голова и плечи «Фомичева» внизу, а зад торчит на поверхности. Он отчаянно болтает валенками, пытаясь оттолкнуться и протиснуться туда, внутрь, в спасительное чрево землянки. При этом слышно, как оттуда, из темноты, снизу он продолжает теперь уже глухо выкрикивать:

— Воздух! Товарищи, воздух!

Хохот вокруг поднимается такой, что вороны и синицы испуганно шакаются с веток рассыпную.

Насмевшись власть и вытирая на глазах слезы, командир взвода лейтенант Бесов говорит вылезающему из землянки «артисту»:

— Силен ты, Кочетов! Ничего не скажешь, силен! Но смотри, увидит старшина, он тебе яичницу пропишет!

Шмыгнув курносый носом и поправляя на голове ушанку, Кочетов задорно говорит:

— Ничего, товарищ гвардии лейтенант. Да ничего такого не будет!

Чести не нарушат, дальше фронта не пошлют! А главное, он знает, что мы с ним друзья!

Война. Нет и не может быть двух мнений, что это самое великое и самое грозное испытание как для государства, так и для каждого человека в отдельности. И нигде так ярко и четко не проявляются все духовные качества человека, как на войне. И проступают они так же быстро и отчетливо, как краска через тонкую бумагу. Война беспощадно высвечивает все: и смелость, и трусость, и честность, и лицемерие, и настоящую дружбу, и подленький эгоизм.

Вот хотя бы тот же старшина Фомичев. И пусть мы заочно шутили над ним и острым словом проезжались на его счет, тем не менее относились к нему хорошо. Ибо человеком, несмотря на свою внешнюю скуповатость и излишнюю, как нам казалось, осторожность в бою, он был добрым и товарищем настоящим. И жизнь подтвердила, что относились мы к нему так не зря. Нет, не дожил наш славный «мстерский богомаз» до победного дня, не вернулся в праздничный день к многочисленному своему семейству, не изукрасил больше ни одной шкатулки удивительным своим мастерством. Он погиб 19 сентября 1943 года во время прорыва ленинградской блокады. И погиб как истинный солдат, смело и благородно!

В ту пору я воевал уже на 4-м Украинском фронте, и о гибели Фомичева рассказали мне мои товарищи много позже.

Произошло это, как я уже говорил, в сентябре 1943 года на промежуточном пункте, где заряжались боевые установки. Иначе мы еще называли такие места предогневыми позициями. Шла подготовка к новому наступлению наших войск. Быстро зарядили боевые машины, и они ушли на огневую позицию. На поляне оставались лишь три транспортные машины да несколько человек народа. Внезапно откуда-то из-за вершин деревьев вынырнули вражеские самолеты. Заметили стоящие на поляне грузовики и, развернувшись, начали бомбить. Все, кто на поляне был, естественно, попрыгали в укрытие. И вот, когда самолеты почти уже заканчивали бомбежку, произошло самое скверное. Рядом с машиной, доверху груженной снарядами, стоял хозяйственный «газик» старшины. В нем, кроме обычного батарейного имущества, находились два ящика со взрывателями «ГВЗМ», предназначенными для ракетных снарядов, ящик с противотанковыми гранатами и два ящика с бутылками самовоспламеняющейся жидкости «КС». Бутылки эти, так же, как и гранаты, находились там постоянно, на случай прорыва фашистских «тигров» или «пантер». И вот в один из ящиков с горючей жидкостью и ударил осколок немецкой бомбы. Жидкость разлилась по кузову и моментально вспыхнула. Сразу же загорелись брезент и промасленная ветошь, предназначенная для протирки спарок боевых машин. От нестерпимого жара начали лопаться другие бутылки с горючей жидкостью. Стали тлеть ящики со взрывателями. Подходил самый трагический момент.

От пламени должны были грохнуть взрыватели, от них сразу же рванули бы все противотанковые гранаты, а за гранатами непременно бы сдетонировали снаряды, находящиеся на соседней машине. И тогда на несколько километров вокруг было бы уничтожено все живое. Как только занялся пожар, первым к машине подбежал выскочивший из укрытия старшина Фомичев, а вслед за ним молоденький шофер «газика». Дело в том, что с первых же дней войны на выдавшем виды «газике» старшины всегда и везде ездил опытейший водитель ефрейтор Лоханов. Но уже весной 1943 года, в связи с тем, что шофер одной из боевых установок Каширин был ранен, знаменитый «непромокаемый и незамерзаемый» ефрейтор Коля Лоханов был переведен на боевую машину. На «газик» же к старшине посадили совсем еще молоденького и необстрелянного паренька из пополнения. Когда начался пожар, он вслед за старшиной подбежал к горящей машине. Фомичев мгновенно оценил обстановку. Прежде всего нужно было срочно же отогнать горящий «газик» от машин со снарядами. И, собираясь перемахнуть через борт в горящий кузов, он скомандовал шоферу:

— Быстро заводи! И отгони машину! Ну, скорей, скорей!

Но языки пламени уже лизали кабину, и парнишка, подбежав к дверце, в нерешительности затоптался на месте. Он никак не мог заставить себя открыть дымящуюся дверцу кабины. И то ли старшина пожалел паренька, то ли решил, что справится лучше сам, а вернее всего то и другое вместе, но Фомичев решительно оттолкнул шофера и мгновенно оказался в заполненной дымом кабине. В дыму, почти не глядя, завел мотор, включил скорость и выжал сцепление. Дал газ, и полыхающий грузовик с места на третьей скорости вырвался на дорогу. И самое неожиданное было в том, что за рулем старшину Фомичева никто и никогда не видел. Умел ли он водить прежде или действовал что называется «стихийно», никто впоследствии об этом так и не узнал. Горящую, как огромный факел, машину старшина отвел примерно метров на триста. Затем выскочил из кабины, задыхаясь от кашля, и в затлевшей шинели стал кататься по болотистой влажной траве. А еще через минуту, погасив на себе огонь, Фомичев уже вскочил на колесо и перевалился через борт грузовика. Сразу же открыв оба борта, он начал выхватывать из пламени ящики и утварь и швырять их с машины вниз. Кашляя в дыму и обгорая, он пробивался сквозь пламя и дым к взрывателям. Ухватил один из горящих ящиков и крикнул подбежавшему шоферу:

— На, принимай! Загаси огонь!

Подал второй ящик, затем ящик с гранатами. Спасать остальное было уже поздно. Машина горела, как гигантский костер. С обгоревшими бровями и ресницами, весь черный и грязный от копоти, старшина прыгнул вниз. Зачерпнул из лужи воды, чтобы остудить нестерпимо пылающее лицо, и не успел.

Двумя пулями в голову и в грудь затаившийся где-то снайпер оборвал жизнь старшины Фомичева. Скромную, честную и воистину отважную жизнь!

Окончив разговор о старшине Фомичеве, я задумался: а все ли главное сказал я о нем сейчас? Вроде бы все. Воздал ведь должное его мужеству. А разве не это главное на войне? И снова подумал: да, отвага на фронте невероятно важна, но одной ее все-таки мало. В человеке, как и в природе, все сопряжено, все взаимосвязано. Что такое бесстрашие в бою? Высшее проявление любви к Родине! То есть самое прекрасное качество человеческой души. Но способен ли на высокий поступок человек, у которого, допустим, мелкая, жадная или подленькая душа? Вряд ли. Лично я такого никогда не встречал. Недостатки есть в любом и каждом из нас. Не ангелы мы, конечно, и все-таки, повторяю и всегда буду утверждать: на прекрасный поступок мелкий человек не способен. Строг был старшина Фомичев к бойцам, очень строг. Но любил их. И делал все, что мог, для того, чтобы было людям как можно легче рядом со смертью. У него в руках были все продовольственные запасы батареи, но он в то трудное время не взял себе даже лишнего сухаря. Даже табак... Пустяковая, но очень характерная деталь. Он получал на складе и выдавал командирам орудий весь курительный арсенал. Сам был отчаянным курякой, но к его пальцам не прилипал ни одной лишней табачной крошки. И курил он даже не сигарки, как большинство из нас, а козью ножку, на которую уходило меньше махры. Все для других и в малом и в большом. Даже самое главное — жизнь! Ведь погиб он действительно как герой, спасая жизнь многих и многих товарищей!

Кстати, хочется отметить тут одну удивительную деталь. Приехали мы на фронт и дали свой первый залп 19 сентября 1941 года, а погиб Фомичев ровно два года спустя, тоже 19 сентября 1943 года, день в день. Вот так окончил свой путь гвардии старшина Александр Яковлевич Фомичев, художник из древнего городка Мстеры. Вот вроде бы и все. Но у рассказа о нем неожиданно оказалось и краткое продолжение. Одну из глав моей книги, где упоминалось имя старшины Фомичева, я опубликовал в номерах 17 и 18 журнала «Огонек» за 1985 год. На публикацию эту пришло много откликов и среди них письмо от нового «мстерского богomoза», Льва Александровича Фомичева, заслуженного художника РСФСР, лауреата Репинской премии. А затем от его брата Владимира Фомичева — инженера из Москвы. Письма их — это горячий и светлый рассказ о трудовой послевоенной жизни жены нашего славного старшины и четверых их детей. Все выросли, все стали людьми, и каждый стремится сберечь и пронести через всякий свой день живой и притягательный образ своего славного отца.

КОМСОРГ БАТАРЕИ

Витя Семенов! Московский паренек. Тоненький, высокий и юный. С ломким мальчишеским голосом, манерой говорить торопливо и горячо. Без малейшего напряжения я воскрешаю его в памяти. Вот он стоит, залитый солнцем, на траве у откинутого борта грузовой машины, куда вместе с товарищами только что грузил ящики с тяжелыми ракетными снарядами «М-31». Застенчиво улыбается и утирает пилоткой вспотевшее лицо. Еще бы! В армии всего два месяца, а справляется с делами не хуже бывалых солдат.

Сентябрь 1943 года. Подмосковный дачный поселок Красный строитель. Здесь формируется наша Тридцатая гвардейская артиллерийская бригада «М-31», которой за славные боевые действия, меньше чем через год, будет присвоено звание «Перекопской».

Я только что прибыл с Северо-Кавказского фронта и назначен сюда заместителем командира батареи. Я еще очень молод. Мне всего двадцать лет. Но я смотрю на таких, как Витька Семенов, почти потоповски. Ибо у этих восемнадцатилетних мальчишек всего два месяца совсем еще необстрелянной армейской службы, а у меня за плечами два года войны. И причем каких два года! Самых первых и самых труднейших. Новоиспеченные гвардейцы знают это и смотрят на меня почтительно и чуть ли не благоговейно. И я, чувствуя это, чего греха таить, порой напускаю на лицо выражение некой особой мудрости и суровости. Но это так, больше для вида. А в общем-то я заранее жалею и почти люблю этих необстрелянных мальчишек, ибо по собственному опыту знаю, как трудно им придется совсем уже скоро там, на грохочуще-дымных полях войны.

А пока идет середина сентября. Наша бригада заканчивает формирование в подмосковном дачном поселке.

Ни ветерка. Настоящее бабье лето! Только что прошел обед. И у ребят почти час личного времени.

Проходя мимо дачи, где расположился расчет второго орудия, я увидел в укромном месте под кустом бузины худенькую фигуру рядового Семенова. Сидя на перевернутой канистре из-под бензина, он изогнулся, как вопросительный знак. На коленях книга. В глазах голубая дымка, отсутствие и мечта. Чувствуется, что от родной батареи он сейчас где-то в дальнем-предальнем далеке... Постояв рядом минуты две, спрашиваю:

— О чем читаете, Семенов? Что-нибудь интересное?

Вздвогнув от неожиданности, он чуть не роняет книгу. А затем поспешно вскакивает, слегка порозовев. Смотрю на него и думаю: господи, до чего же еще мальчишка! На вид ему и восемнадцати-то, пожалуй, не дашь. Ресницы длинные, как у девушки. Щеки с трогательным пушком... Но на груди ярко и радостно полыхает комсомольский значок. Эх, честное слово, не воевать бы ему, а сидеть

где-нибудь в институте на лекциях и бегать по вечерам на свидание к хорошей девочке!

— Что читаете? — снова спрашиваю его. — «Анну Каренину»? «Вешние воды»?

Он смущается и молча протягивает мне книгу. Жюль Верн. «Таинственный остров». М-да... вот тебе и влюбленный студент! Я тоже когда-то взахлеб читал эти книги. Только, кажется, чуть раньше, лет в четырнадцать-пятнадцать. Улыбаясь, спрашиваю:

— Мечтаете о путешествиях и дальних краях?

Он молчит. Задумчиво смотрит куда-то вдаль и затем, словно решившись на откровенность, говорит:

— Путешествия мне нравятся. Но тут дело немножко в другом. В книгах Жюль Верна меня больше всего интересуют научные проблемы, удивительно смелые гипотезы. Вообще поразительный человек. Вы понимаете, ведь он в свое время предсказал массу самых великих открытий! Нет, честное слово, от подводного плавания до покорения планет! И потом он рисует портреты замечательных ученых, которые отдают всю свою жизнь науке, вот как Сайрус Смит, например.

— А вы тоже хотели бы когда-нибудь стать ученым?

Видимо, я задел его больную струну. Он смущается еще больше, а затем, вдруг вскинув на меня чистые голубые глаза, с застенчивой улыбкой говорит:

— Ну, стать ученым это уж слишком большая вещь. Где уж мне... Но вот изобрести что-то хорошее и полезное хотелось бы очень!

И вдруг, оживившись, он заговорил взволнованно и быстро:

— Сейчас война, я понимаю. Но ведь она же кончится... Мы победим... А техника, она же всегда нужна. Многие даже не знают, сколько тут необходимо сделать! Ну вот возьмите хотя бы тепловоз. О паровозе я уже не говорю. Знаете, каков его коэффициент полезного действия? Или, как принято говорить, КПД? От семи до десяти процентов! Значит, девяносто три процента каменного угля, в самом буквальном смысле, вылетает в трубу! А каменный уголь — ценнейший химический материал. Вы только подумайте, товарищ гвардии лейтенант, семь процентов полезных и девяносто три бесполезных! Ведь если бы удалось добиться двадцати, тридцати, а то и пятидесяти процентов, что бы тогда было на земле! Или вот так: совсем наоборот! — И тут глаза его засветились совершенным восторгом:

— Вы только представьте: коэффициент полезного действия девяносто три процента, то есть девяносто три полезных и только семь бесполезных! Ведь это же была бы революция! Сказка! На мешке угля или какой-нибудь канистре нефти можно было бы доехать до Ленинграда!

Я приветливо похлопал Семенова по худенькому плечу и сказал:

— Дай бог, чтобы из вас получился когда-нибудь новый Ползунов! А до Ленинграда, увы, пока нам не доехать никак. Там, как вы знаете, фашистская блокада. И нам еще надо воевать и воевать. Понятно?

Он прищелкнул тяжеловатыми для его худенькой фигурки сапогами и с энтузиазмом ответил:

— Так точно, понятно, товарищ гвардии лейтенант! Повоеем!

Зарицы войны, зарницы войны... Они вспыхивают попеременно в душе моей и в мозгу. Мгновение, еще одна вспышка... И вот на «экране» моей памяти новый кадр.

Четвертый Украинский фронт. Войска под командованием генерала армии Толбухина неотвратимой лавиной катятся на запад. Только что Москва отсалютовала нам по случаю освобождения Запорожья, а войска наши уже победно идут по днепропетровской земле. Широкий, твердый, как камень, и укатанный до гудронного блеска тысячами колес, черноземный шлях несется вперед, все дальше и дальше в необозримую ковыльную степь. А мы сворачиваем с большака на проселок, ведущий к селению со старинным названием Карачекрак. Десятка полтора глинобитных развалин да разрушенное кирпичное здание в центре селения, от которого осталась практически только одна стена. Небольшой заброшенный колодец без журавля, и с трех сторон тихие, безмолвные степные ковыли да нелепые шары перекасти-поля. Я говорю — с трех сторон, потому что четвертую безмолвной, при всем желании, не назовешь. Четвертая сторона звучит, да еще как звучит! Там, в западной стороне, в двух километрах передовая, откуда враг поливает нас хотя и беспорядочным, но довольно ощутимым огнем. Отсюда, с высокого холма, хорошо видно, как окопы фашистов напористо и жарко «утюжат» наши славные штурмовики «ИЛ-2». Передовую заволакивает пыль и рыжеваточерный дым. Артиллерийская канонада тоже усиливается. Сейчас наши пойдут вперед. С холма все видно как на ладони. Но вот бомбардировка окончилась, канонада ушла дальше вперед. Затем, затем вот они — крохотные фигурки бойцов! Они повывскакивали из окопов. Их все больше... больше... Они упрямо бегут вперед. Ну, ребята, ребята, ну! Не давайте опомниться! Еще немного, еще!

Кто это восклицает? Я или стоящий рядом со мной старшина Лубенец? Или комсорг батареи Виктор Семенов? Комсоргом его выбрали недавно, всего месяц назад. И он, как мне кажется, искренне этим гордится. Впрочем, кто-то, а я лично хорошо его понимаю, ибо сам весной 1942-го под Ленинградом был комсомольским вожаком батареи.

Мы, офицеры, помогаем, поторапливаем, руководим подготовкой батареи: Турченко на правом фланге, я — на левом. Лейтенант Гедейко со своими электриками и подрывниками тянет проводку, комзвода лейтенант Синегубкин руководит разгрузкой и доставкой снарядов. Работа идет четко и без задержек. В расчете второго орудия

больше всех старается Виктор Семенов. Работает сам, поддерживает товарищей, вдохновляет, пошучивает. Короче говоря, парень на месте. И выбрали его товарищи в комсорги не зря. С забинтованной головой, комсомольским значком на груди и гранатой у пояса, с сияющими голубыми глазами, он похож, вероятно, сейчас на геройского воина, шагнувшего сюда прямо с какого-нибудь красочного военного плаката. Однако, хотя голова у Семенова забинтована, но осколки и пули тут ни при чем. Семенов не ранен. Но все-таки хоть он и не ранен, а травма тем не менее есть. Накануне произошел такой эпизод. Мы выезжали из села Софиевка, на западной окраине которого стояла танковая часть. Между двумя громадными платанами над дорогой у них был протянут телефонный шнур. Натянут он был довольно высоко, и машины с боевой техникой проходили под ним свободно. Большинство наших бойцов сидело вдоль бортов и в центре на разобранных установках. А эмоциональный Витя Семенов стоял, держась за кабину, во весь рост. Всех изнуряющих, а порой изматывающих в прах тягот войны он еще, к счастью, не знал. И настроение у него было возбужденное.

Машина шла быстро, и он, занятый своими мыслями, не заметил, как протянутый через дорогу пластмассовый телефонный шнур врезался ему прямо в лоб. Виктор инстинктивно пригнулся, но было уже поздно. Провод довольно сильно рассек ему кожу на лбу. По лицу потекла кровь.

Санинструктор Башинский, обработав рану и перевязывая ему голову, несердито ворчал:

— Ну и шо тэбэ, скаженный, нэ сидится?! Торчишь, прости господи, як кочет на шестке. Жаль, что тэбэ усю голову, як гарбуза, нэ снесло! Нехай бы ехал дальше без головы!

Но Витя Семенов только помалкивал и улыбался. Получалось почти как первое ранение, шутка ли! Но улыбка улыбкой, а надо сказать, что вел себя Виктор Семенов во всех проведенных прежде боях отменно. Вот и сейчас он вдохновлял всех, старался за двоих, как при разгрузке машин, так и при зарядке боевой установки. До залпа оставалось около двадцати минут. Ветер пригнал с отдаленного пожарища дым и начал закручивать пыль. Видимость заметно ухудшилась. Ко мне подошел Турченко и озабоченно сказал:

— Слушай, Асадов, надо выслать вперед боевое охранение. Да вот пошли хотя бы Семенова. Он и травму получил и устал больше всех.

Я позвал комсорга.

— Кончайте работу, Семенов. Тут все довершат и без вас. Идите сейчас в боевое охранение вон к тому холму. Задача ясна?

— Так точно, — живо откозырял Семенов. — Ни мышь не пробежит, ни еж не проползет! — И кинулся за автоматом.

...Каким образом оказались по эту сторону вражеские пластуны-разведчики, я точно сказать не могу. Очевидно, беспокойство

у фашистов все нарастало и нарастало. Выслать, как в прежние времена, самолет-разведчик, или, как обычно называли его на фронтах, «раму», теперь уже не получалось. Это был не сорок первый, а уже сорок третий год. И в воздухе господствовали мы. Возможно, этим и объяснялось появление трех неизвестных впереди нашей батареи, примерно метрах так в пятистах.

Семенов заметил согнутые фигуры в пестрых масках, выполнявшие из острого края оврага наверх. Заметил и дал предупредительную очередь в воздух из автомата. Стрелял Семенов метко. Как выяснилось потом, в перестрелке одного из фашистов он убил, а остальных обратил в бегство.

Итак, батарея была готова к залпу. Вражеский артобстрел все крепчал и крепчал. Наступил критический момент. Наши заряженные установки ровной шеренгой, сверкая металлом, стояли без малейшего укрытия на виду. Одно прямое или близкое попадание, и все превратится в гигантское пламя и дым. Семенов сигнальной ракеты, призывающей помощь, не подавал. Тем не менее в редких перерывах между артиллерийскими взрывами автомат его был услышан. И хлопцы кинулись бы немедленно ему на помощь. Но в это время над батареей пронеслась команда: «Огонь!» При этой команде все должны находиться в укрытии. В противном случае будут жертвы. И дисциплина тут очень строга. Батарея редела и редела на басовых нотах, выбрасывая ввысь одну за другой брызжащие огнем ракеты со стокилограммовой начинкой. Но вот рев оборвался. Снаряды ушли. А через несколько секунд земля, вздрогнув, затряслась, зашаталась, и в нарастающем уже сплошном громе казалось, что кто-то бьет по ней невероятной величины молотом. Красно-белое пламя разрывов, черные столбы земли и едкий желто-серый дым застлали окрестность. Пехоты нашей во мгле видно не было. Но она пошла вперед. И пошла хорошо. Это было ясно хотя бы уже по тому, что обстрел наших позиций начал быстро затихать и вскоре оборвался совсем. Наступила полнейшая тишина. И только где-то там впереди, все более и более удаляясь, доносились еще толчки и гул отдаленных разрывов. Бой окончился. Наши ушли далеко вперед.

Широкоплечий, черноглазый, немного похожий на цыгана, старшина Трофимов, закулив и выпустив через ноздри струи махорочного дыма, с неторопливым удовлетворением сказал:

— А потрудились вроде ничего! Хорошо, что команду «Огонь!» дали без задержки. А я даже малость подумал, что тут нам могут крепко накрутить хвоста... — И он улынулся тугими еще от напряжения губами. Но тут вдруг лицо его стало постепенно вытягиваться, глаза уставились в одну точку, и, торопливо отбросив цигарку, он кинулся вперед. Я обернулся и тоже замер. От дальнего холма к батарее шла группа бойцов. На растянутой плащ-палатке хлопцы несли солдата. Рядом с телом на палатке покачивался автомат. Вот

они все ближе... ближе... Уже понимаю, догадываюсь, в чем дело. Но не могу поверить, не хочу! Подошли к расчету второго орудия. Опустили горькую ношу на каменистый грунт. Сняли пилотки...

Витька Семенов, Витька Семенов! Совсем еще юный парнишка, славный наш друг, горячий и звонкий комсорг батареи, бесстрашный солдат... Никогда мы тебя не забудем! Вот видишь, сколько лет прошло, а я и сейчас ясно-ясно вижу тебя: светло русые волосы, непослушный мальчишеский вихор, белая марлевая повязка на голове с двумя пятнами крови, перепачканная землей... Глаза полуприкрыты. На левом кармане гимнастерки — пунцовый комсомольский значок. А полуоткрытые губы и удивленные, вскинутые вразлет брови словно бы спрашивали: «Как, неужели же это все? Эх, а ведь у меня столько планов...»

Ребята молчали. Старший сержант Боткин неуверенно произнес: — Надо бы санинструктора позвать. — Сказал и отвернулся.

Санинструктор Башинский стоял рядом. Стоял и не произносил ни слова. Здесь он, к величайшему сожалению, был уже абсолютно не нужен. На груди зияла пунцовая рана величиной почти с ладонь. Осколок снаряда...

Дым рассеялся, раздвинулись тучи, и из-за дальнего холма выглянул золотисто-оранжевый полукруг заходящего солнца. Он выбросил ввысь яркий сноп пламени, словно бы озаряя алым, приспущенным стягом комсорга-артиллериста Витю Семенова, который страстно мечтал когда-то изобрести удивительный тепловоз с КПД в пятьдесят или даже девяносто процентов...

И много позже, вспоминая о нем, я всякий раз думал, сколько же их, вот таких, не успевших состояться новых Ползуновых, Менделеевых или Курчатовых полегло на широчайших просторах родной земли и далеко за ее рубежами! И пусть даже не обязательно знаменитых ученых или писателей, а просто хороших и светлых людей — тружеников, мечтателей, горячо любящих Родину и, не колеблясь, готовых отдать за нее жизнь!

Да, страшная это штука — война! Об этом знаем мы — фронтовики, прошедшие через раскаленное пламя, об этом знает мать Вити Семенова, у которой не вернулись с войны муж и сын. И еще многие миллионы таких же вот безутешных сестер, жен и матерей. И надо, обязательно надо, чтобы знало и помнило об этом каждое из последующих поколений, все люди на земле от школьников до президента!

Я не был с тех пор в селении Карачекрак, что заново отстроилось где-то на днепропетровской земле. Но хочется думать, что горит и по сей день ярко-красная звезда с прикрепленным к ней комсомольским значком и растут посаженные заботливыми, бережными руками прекрасные цветы над могилой Вити Семенова, который самозабвенно любил свою Родину и мечтал изобрести для нее сказочный тепловоз...

СОДЕРЖАНИЕ

Вместо предисловия	3
Здравствуй, ленинградцы!	4
Отвага, сестра удачи	17
Новый 1979 год	32
Кочетов и Фомичев	36
Комсорг батареи	42

Эдуард Аркадьевич АСАДОВ

ЗАРНИЦЫ ВОИНЫ

Редактор Д. К. Иванов

Технический редактор О. Н. Ласточкина

Сдано в набор 05.08.85. Подписано к печати 08.10.85. А 14616.
Формат 70×108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная».
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,12. Усл. кр.-
отт. 2,28. Тираж 85 000 экз. Изд. № 2625. Зак. № 1300.
Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865,
ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

● Папы и мамы, бабушки и дедушки, другие близкие родственники ребенка могут заключить договоры страхования детей. Обусловленная договором страховая сумма будет выплачена застрахованным юноше или девушке по окончании срока страхования — при достижении ими восемнадцатилетнего возраста.

● Застраховать ребенка можно со дня его рождения. К моменту оформления договора страхования возраст ребенка не должен превышать 15 лет 6 месяцев.

● Размер страховой суммы устанавливается по согласованию между страхователем и инспекцией Госстраха (минимальная сумма — 300 рублей). Размеры взносов зависят от страховой суммы, возраста ребенка и продолжительности их уплаты. Страховые взносы можно уплатить единовременно за весь срок страхования — в этом случае расчеты осуществляются по льготному для страхователя тарифу.

● В пользу одного ребенка можно заключить несколько договоров страхования.

Уважаемые товарищи!

● Для получения подробных справок о страховании детей и оформления договора страхования обратитесь, пожалуйста, к страховому агенту, обслуживающему вас по месту работы или жительства, или в инспекцию Госстраха.

ГОССТРАХ РСФСР